ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И ДЕМОКРАТИЯ

Российский и польский взгляд

Под общей редакцией И. М. Клямкина

Москва 2009

УДК 323/324:316.343.652(470+571+438) ББК 66.2(2Рос+4Пол) И73

Интеллектуалы и демократия : Российский и польский взгляд / под общ. ред. И. М. Клямкина. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2009. – 144 с.

На страницах этой книги российские и польские интеллектуалы размышляют о новейшей истории своих стран. О том, почему результатом деятельности польской интеллигенции в 1980-е годы стало утверждение демократической политической системы, а в России это в очередной раз не получилось. И еще о том, способна ли российская демократическая интеллигенция сыграть сколько-нибудь значимую общественную роль в настоящем и будущем.

УДК 323/324:316.343.652(470+571+438) ББК 66.2(2Рос+4Пол)

ISBN 978-5-903135-08-0

<u>СОДЕРЖАНИЕ</u>

От редактора	6
Вступительное слово президента фонда «Либеральная миссия» Евгения Ясина	9
Вступительное слово вице-президента фонда «Либеральная миссия» Игоря Клямкина 1	10
Интеллектуалы против коммунизма (выступления Адама Михника, Сергея Ковалева,	
Кшиштофа Занусси, Льва Гудкова)	13
Интеллектуалы после коммунизма (выступления Игоря Клямкина, Эдмунда Внук-Липинского	
Глеба Мусихина, Ежи Помяновского, Эмиля Паина, Кирилла Рогова)5	53
Дискуссия (выступления Мариэтты Чудаковой, Вадима Межуева, Эмиля Паина, Дениса Драгунского, Ирины Ясиной, Аллы Гербер, Славомира Поповского, Дмитрия Бабича, Виктора Шейниса, Натальи Карповой, Валентина Гефтера, Сергея	
Баоича, Биктора Шейниса, Патальи Карповой, Валентина Гефтера, Сергея Ковалева, Адама Михника) {	85
Заключительное слово Игоря Клямкина: «Удастся ли российской демократической	
интеллигенции выдвинуть конкурентоспособный политический проект и заинтересо-	
вать им российское общество – этот вопрос остается открытым»13	33

От редактора

Ровно сто лет назад, в 1909 году, вышел знаменитый сборник «Вехи», положивший начало не прекращающимся с тех пор спорам о роли интеллигенции в отечественной истории. Одни, как авторы «Вех» и их последователи, считали и считают эту роль деструктивной, другие, наоборот, видели и видят в демократической интеллигенции главную идейную силу, способную вывести Россию из ее самодержавного прошлого, которое до сих пор прошлым так и не стало.

В этой книге представлена еще одна дискуссия на старую тему, состоявшаяся 4 декабря 2008 года. На сей раз — внутри самой демократической интеллигенции. Люди, к ней себя причисляющие, пытаются разобраться в том, почему она, интеллигенция, сумев в конце 1980-х годов увлечь значительные слои общества своими идеями, опять почти ничего не добилась. А также в том, способна ли она сыграть сколько-нибудь значимую роль в настоящем и будущем, т.е. после того, как Россия в обновленной форме вернулась в привычную авторитарную колею, из которой интеллигенция пыталась ее вывести.

У этой дискуссии, материалы которой предлагаются вниманию читателей, есть, однако, и еще одна особенность, отличающая ее от прежних споров. Она заключается в том, что в данной дискуссии участвовали не только российские, но и польские интеллектуалы, игравшие заметную роль в польском демократическом движении 1980-х годов. Почему же их участие показалось нам важным?

Разумеется, мы пригласили польских коллег не только для того, чтобы узнать их мнение о причинах наших прошлых неудач и наших нынешних проблемах. Мы пригласили их прежде всего потому, что польской интеллигенции удалось исполнить ту историческую роль, которую интеллигенция российская сыграть не сумела. В Польше утвердилась демократия, Польша вошла в Европейский союз, между тем как Россия все еще перебирает варианты «особого пути». И нам хотелось понять, почему польской интеллигенции удалось своих целей достигнуть, а российская потерпела поражение. Мы исходили при этом из того, что на своих ошибках, если таковые были, можно большему научиться, имея представление об опыте тех, кому таких ошибок удалось избежать.

Почему мы пригласили именно польских коллег, а не представителей какойлибо другой страны Восточной Европы? Ведь в каждой из них интеллигенция справилась со своей задачей не менее успешно – все эти страны сегодня тоже в Большой Европе. К тому же в 1980-е годы события в них развивались по сценариям, больше похожим на сценарий советский, чем на польский. Потому что в Польше интеллигенция опиралась на организованное массовое движение в лице многомиллионного профсоюза «Солидарность», чего больше нигде не было. И такой, как там, сильной и влиятельной церкви, сыгравшей огромную роль в формировании национального антикоммунистического

консенсуса, нигде не было тоже. Однако в последние несколько лет именно в Польше наблюдался рецидив политического традиционализма в виде режима братьев Качинских, что сподвигнуло многих интеллектуалов этой страны на сопоставление Польши с Россией, режима Качинских с режимом Путина.

Возможно, эта вспышка традиционализма — отдаленное эхо вхождения Польши не только в советский блок, но и в Российскую империю, в которую другие восточноевропейские страны никогда не входили; возможно, сказались какие-то другие причины. Факт лишь то, что у поляков появились основания рассматривать свою современную политическую реальность сквозь призму реальности российской. И хотя сходство здесь в основном внешнее, оно все же позволяет сравнивать посткоммунистическую эволюцию двух стран, сопоставлять консервативные тенденции в них и возможности интеллигенции таким тенденциям противостоять.

Читатель, правда, не сможет не заметить, что польские коллеги озабочены сегодня не только противостоянием традиционализму. Тем более что властный дуэт Качинских — не в последнюю очередь благодаря усилиям либеральной интеллигенции — на последних парламентских выборах был разрушен, и одного из двух главных постов (руководителя правительства) они лишились. Поэтому, возможно, наши гости так много внимания уделяли помимо политических и другим вопросам. И прежде всего тем, которые касаются положения интеллигенции, как носителя и творца высокой культуры, в условиях рыночной экономики и демократии. Положения, которое оказалось для многих ее представителей неожиданным и вызывающим дискомфорт. Российским участникам встречи такие проблемы, разумеется, знакомы тоже, но мы все же настраивали их не на разговор о культурных издержках демократии, которая в России не утвердилась, а о том, как способствовать ее утверждению. И они, как правило, оставались в границах заданной темы.

Они дискутировали о том, почему российская демократическая интеллигенция в достижении своих целей оказалась не столь успешной, как польская, и какие уроки ей следовало бы из этой неудачи извлечь. Критическому анализу, порой очень жесткому, подверглось не только ее поведение в прошлом и настоящем, но и ее мышление, ее интеллектуальное качество. Обсуждалось и ее соответствие новым вызовам, перед которыми оказалась Россия в условиях экономического кризиса, влекущего за собой неизбежное обострение идеологического и политического противоборства в стране.

Участники обсуждения, причем не только российские, но и польские, не были очень уж строги в терминологии. За редкими исключениями, они не увлекались модным ныне разграничением смыслов слов «интеллектуалы» и «интеллигенция», используя их как синонимы для обозначения одного и того же социального слоя, рассматриваемого с точки зрения его общественной,

гражданской функции. Речь шла, как правило, о либерально-демократической гуманитарной элите и ее роли в утверждении правовой государственности и формировании гражданского общества. Роли, которая не только в России, но и в Польше, равно как и в других странах Восточной Европы, в прошлое не ушла, хотя ее историческое содержание там существенно иное, чем в России.

Так что польский пример может быть интересен нам вдвойне – и в ретроспективе, и, хотелось бы надеяться, в перспективе тоже. Он может быть интересен нам и своей успешностью в решении задач, в России до сих пор не решенных, и проблемами, возникающими после их решения.

Игорь Клямкин,

вице-президент фонда «Либеральная миссия»

Вступительное слово президента фонда «Либеральная миссия» Евгения ЯСИНА

Дорогие друзья, позвольте открыть нашу встречу. Она организована «Либеральной миссией» совместно с Высшей школой экономики и польским Фондом «Пресс-центр для стран Центральной и Восточной Европы» при содействии посольства Польши в России. Спасибо всем, кто помог нам здесь сегодня собраться.

Тема, которую предлагается обсудить, для России более чем актуальна. Демократия, начавшая было утверждаться в стране во многом благодаря активности демократической интеллигенции, фактически свернута. И, мне кажется, пришло время разобраться, почему так произошло и есть ли тут вина самой интеллигенции.

В Польше, как мы знаем, такого отката не было. Однако и польские либеральные интеллектуалы после прихода к власти братьев Качинских стали испытывать тревогу, о чем я могу, в частности, судить по выступлению присутствующего здесь Адама Михника на недавних Ходорковских чтениях в Москве. Это говорит о том, что, при всех различиях посткоммунистической эволюции наших стран (Польша все-таки в НАТО и Евросоюзе), между ними сохраняется и что-то общее. И это, как мне кажется, предвещает содержательный разговор.

Нам очень интересен опыт польских интеллектуалов в отстаивании либеральных и демократических ценностей, причем не только нынешний, но и прошлый, т.е. опыт конца 1980-х – начала 1990-х годов. Потому что значительную часть пути к демократии, которую Польша прошла еще в те годы, России только предстоит пройти. Во всяком случае, я надеюсь, что предстоит. Какую же роль в этом может сыграть российская либеральная интеллигенция? Какие уроки должна она извлечь из неудач? Следует ли ей сотрудничать с недемократической властью на предлагаемых той условиях, как считает часть либеральных интеллектуалов, или находиться в жесткой оппозиции этой власти, как полагают другие? Что должно доминировать в ее поведении при сложившихся обстоятельствах – прагматизм или идеализм?

Это то, что волнует нас. Уверен, что и у польских коллег есть свои вопросы, которые они хотели бы с нами обсудить. Я уверен и в том, что российским участникам будут интересны волнующие наших друзей проблемы, причем независимо от того, насколько совпадают они с проблемами, которыми озабочены интеллектуалы в России.

На этом я свое вступительное слово завершаю. Более конкретно о том, ради чего мы здесь собрались, скажет Игорь Моисеевич Клямкин, который непосредственно занимался организацией нашей встречи.

Вступительное слово вице-президента фонда «Либеральная миссия» Игоря КЛЯМКИНА

Евгений Григорьевич уже сформулировал основные вопросы, которые нам хотелось обсудить с польскими и российскими коллегами. У меня есть некоторые дополнения к сказанному им. Прежде всего по поводу актуальности для нас такого обсуждения.

Она обусловлена тем, что независимые либерально-демократические политические силы в России либо разгромлены, либо маргинализированы. Отсутствует сегодня в стране и либерально-демократическая интеллектуальная оппозиция с внятной стратегической альтернативой сложившейся в стране политической системе и проводимому властями курсу. Если идеологи имперскодержавной ориентации выдвигают проект за проектом и пытаются создать старо-новый язык, который общество готово было бы воспринимать (и в этом они немало преуспели), то на либеральном интеллектуальном фланге ничего такого не наблюдается. К тому же сам этот фланг раздроблен на множество групп и группок, причем все больше людей ищут и находят возможности прислониться к авторитарной власти.

Все это и сообщает актуальность вынесенной на обсуждение темы. Конечно, пригласив польских коллег, мы не ждем от них конкретных советов. Прежде всего мы хотим сами разобраться в том, что с нами происходит. Вряд ли гости из Польши смогут поделиться с нами и каким-то своим современным опытом, который мы могли бы непосредственно использовать. Разумеется, нам очень интересно узнать, как либеральная польская интеллигенция противостояла, причем небезуспешно, тем традиционалистским политическим тенденциям, которые олицетворялись братьями Качинскими в пору их совместного двухлетнего управления страной. Но это нам мало чем поможет, так как в Польше, о чем Евгений Григорьевич уже упоминал, совсем другая политическая система, другие суды, другие выборы, другие СМИ. Однако именно этим различием, как ни покажется странным, обусловлен и наш интерес к деятельности польских либеральных интеллектуалов. Но не к нынешней, а к прошлой.

Демократическая политическая система утвердилась в Польше во многом благодаря этой деятельности. В России же такая система не утвердилась, выполнить свою историческую миссию интеллигенции здесь не удалось. И вопрос в том почему. В этом мы и хотим разобраться с помощью польских коллег.

Внешне все было очень похоже. Польские интеллектуалы, как и российские, пережили период увлечения идеей «социализма с человеческим лицом». Потом в обеих странах ее изжили, на смену идее хорошего и правильного социализма пришли идеи рынка и демократии. И интеллигенция наших стран,

транслировавшая эти идеи в общество, разрушавшая старый идеологический язык и вводившая новый, приобрела колоссальное влияние, стала признанным лидером общественного мнения. А потом, после падения коммунизма, идеологически опрокинутого интеллигенцией, ее представители начали реформирование социалистической экономики. Бальцерович в Польше приступил к этому раньше, Гайдар в России несколько позже, но оба они пытались продвигать свои страны в одном направлении. Все вроде бы и в самом деле похоже, а результаты разные. И нам хотелось бы понять, насколько повинна в наших неудачах российская интеллигенция.

Понятно, что отчленить ее ответственность за происшедшее от ответственности политиков и общества в целом не так-то просто, если возможно вообще. Но это надо делать уже потому, что такая ответственность на российскую демократическую интеллигенцию сегодня возлагается. Она подвергается жесткой критике за то, что предприняла атаку на советскую систему, не имея никакой проработанной альтернативы ей, никакого стратегического плана преобразования страны. Здесь присутствует Лев Дмитриевич Гудков, который специализируется на критике интеллигенции, и вариант такой критики, уверен, он предложит нам и сегодня.

Вместе с тем в последнее время нашим незадачливым интеллектуалам все чаще противопоставляются интеллектуалы восточноевропейские, и прежде всего именно польские. Удачливость же их объясняется обычно тем, что они готовились к переменам заранее, что к моменту распада коммунистической системы они уже хорошо представляли себе, что и как нужно делать. Поэтому, мол, в Польше сегодня демократия, а в России — ее «суверенный» суррогат.

Естественно, что критика эта обращена не только в прошлое, но и в настоящее. По мере того как нарастали обвинения путинского режима со стороны некоторых либеральных интеллектуалов при полной невосприимчивости к этим обвинениям подавляющей части общества, начала нарастать и волна обвинений в адрес самих обвиняющих: вот, мол, опять одна только критика при отсутствии какой-либо позитивной альтернативы, что может людей лишь отталкивать. Так говорят и пишут не только те, кто считает демократию для России чужеродной. Так говорят и пишут уже и некоторые интеллектуалы, которые мировоззренчески идентифицируют себя с либерализмом и демократией.

Вот почему нам чрезвычайно интересен опыт польской интеллигенции 1980-х годов. Нам важно понять, почему у нее получилось то, что у российской интеллигенции не получилось. Важно не только для оценки прошлого, но и для извлечения из него уроков на будущее.

Поэтому мы предлагаем роль польской и российской интеллигенции в период демонтажа коммунистических режимов обсудить отдельно. Мы договорились со всеми основными докладчиками, что начнем обсуждение с

анализа прошлого. При этом каждый решал сам, какой период он будет рассматривать. Вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать. Возвращаю микрофон Евгению Григорьевичу.

Евгений ЯСИН:

Первое слово я предоставляю Адаму Михнику. Представлять же его самого, думаю, нет необходимости. Он широко известен не только в России, но и в мире как одна из ключевых фигур польского демократического движения 1980-х, как один из интеллектуальных лидеров «Солидарности».

Игорь КЛЯМКИН:

И еще как русофил-антисоветчик...

Евгений ЯСИН:

Да, так он сам себя называет. Пожалуйста, Адам. Какой видится вам сегодня роль польской интеллигенции в демонтаже коммунистической системы?

Интеллектуалы против коммунизма

Адам МИХНИК (польский общественный деятель, главный редактор «Газеты Выборчей»):

«Если широкие слои интеллигенции переходят в антисистемную оппозицию, то это значит, что система исторически обречена»

Когда я первый раз приехал в Москву — это был 1989 год, — кто-то из российских журналистов подарил мне книгу «Крах операции "Полония"». В этой книге я прочитал о себе, что Адам Михник — один из лидеров «центра польской контрреволюции». И я тогда подумал, что никогда в жизни не получал такого шикарного комплимента. Меня и моего близкого друга, покойного Яцека Куроня считали в Москве чуть ли не самыми страшными людьми. И в Варшаве, разумеется, тоже. Поэтому генерал Ярузельский, тогдашний польский руководитель, и держал нас в тюрьме. А теперь он очень часто говорит: «Адам, если бы я знал, как потом все повернется, я бы тебя в тюрьме не держал». Но он, к сожалению, не знал.

Меня попросили рассказать о роли польской интеллигенции в демонтаже коммунистической системы. Надо сказать, что в той системе этот слой занимал особое положение. Сталин называл его представителей «инженерами человеческих душ». Да, они были одним из главных объектов репрессий, причем очень жестоких. Но, с другой стороны, власть постоянно использовала их для укрепления системы. Ни одна общественная группа не была объектом такого заигрывания и кокетства, ни одна, кроме коммунистической номенклатуры, не имела таких привилегий, как интеллигенция. Конечно, модель этих отношений была создана в Советском Союзе, но Польша ее тоже хорошо освоила.

Когда же обруч сталинизма лопнул и террор прекратился, польская интеллигенция была первой, кто начал подавать голос протеста. В отличие от других групп населения, она умела говорить, и она заговорила. 1956 год, когда все это началось (так называемый польский Октябрь), — эхо десталинизации Советского Союза и доклада Хрущева на XX съезде КПСС. Причем давление на власть стали оказывать прежде всего интеллектуалы, состоявшие в коммунистической партии, взбунтовавшиеся коммунисты. Иными словами, протест шел у нас изнутри системы. Это были люди, которые критиковали ее с позиций социалистического идеала, о чем Игорь Клямкин уже говорил. Это были люди, верившие в перспективу демократического социализма, «социализма с человеческим лицом».

Вместе с тем 1956 год дал возможность появиться на легальной сцене еще одной категории интеллектуалов, которых можно назвать либеральными католиками. Католическая церковь в Польше после 1956 года стала своего рода

государством в государстве. Или, точнее, суверенным государством в несуверенном государстве. И благодаря тому что церковь обрела такую силу, появилось место и для тех кругов, которых я называю либеральными католиками. В частности, возникло такое образование, как Клуб католической интеллигенции. Я его выделяю, потому что люди, входившие в него, впоследствии сыграли огромную роль в формировании польской демократической оппозиции.

Период между 1956 и 1968 годами — это период перманентной борьбы власти и интеллигенции. Эта борьба стала возможной как потому, что власть отказалась от методов сталинской диктатуры, так и потому, что появилось первое поколение (мое поколение), которое не жило в страхе, которое не помнило ни войны, ни сталинского террора. Мы формировались уже после 1956 года, «прививки страха» не получив.

И наконец, была еще польская эмиграция в свободную Европу. Эмиграция, которая самим фактом своего существования свидетельствовала о том, что люди начинали терять веру в возможность реформирования коммунистической системы, веру в добрый социализм. И в самой Польше таких людей становилось все меньше. После 1968 года, ознаменовавшегося разгромом «пражской весны», мы в своем кругу обсуждали уже другие вопросы. Мы дискутировали о том, каким образом защищаться от коммунизма, как создавать свое собственное пространство, где мы могли бы говорить собственным голосом, который не глушится цензурными и административными глушилками.

Интеллектуалы стали оппозицией власти. Использовать их как свой рупор она уже не могла. Но переход широких слоев интеллигенции в антисистемную оппозицию означал, что система исторически обречена. При отсутствии лояльности со стороны образованных групп общества государство долго существовать не может. А такая лояльность оставалась в прошлом. Если в 1940-е годы выдающиеся писатели и ученые поддерживали власть из идейных соображений, то в конце 1960-х ничего подобного быть уже не могло. И потому, что идея выдохлась, и потому, что такая поддержка осуждалась общественным мнением. Оно допускало сотрудничество с системой только при условии, что человек, находясь внутри нее, выполняет поручения власти таким образом, что это работает не на власть, а против нее. Например, я работаю в издательстве и знаю, что обязан издавать столько-то советских книг. И я их издаю. Но я издаю Трифонова, Окуджаву, Владимова, Войновича, Аксенова. Таких писателей, которые вроде бы советские, но только потому, что они проживают в Советском Союзе, а духовно они свободные писатели.

Власти не знали, что им делать с интеллигенцией. От кнута они отказались, а их пряники уже почти никого не соблазняли.

В определенные моменты интеллектуалы становились голосом общества, которому заткнули рот. Это, разумеется, вызывало раздражение «верхов».

В какой нормальной стране возможно, чтобы вполне лояльное письмо тридцати писателей и ученых вызвало скандал на уровне высшего руководства, в нашем случае — на уровне Политбюро ЦК? А в Польше это так и было. Но, опять же, власть не знала, что с этим делать. Она пыталась вернуть доверие интеллигенции, расширяя пространство официально дозволенного, но интеллигенция использовала это пространство так, как считала нужным. И одновременно создавала новые собственные ниши для оппозиционной деятельности.

Например, до Польши дошло известие из Советского Союза о существовании там самиздата. Помню, что в моей среде люди испытали даже чувство стыда: в России самиздат, а у нас — нет! И наши эмигранты, издававшие за рубежом свободные польские издания, стыдили нас. «Как это так, — говорил мне один из них, — я получаю машинопись из России (речь шла о Терце и Аржаке, т.е. о Синявском и Даниэле), а из Польши — ничего!» И это влияло на нас чрезвычайно стимулирующим образом. Пример российского самиздата показал нам, что наряду с официальной прессой, прессой католической и эмигрантской могут быть и другие ниши, которые могут и должны быть использованы.

Нельзя не сказать и о новых явлениях в польской культуре того времени. Возникает молодой театр со своим особым языком, позволяющим обходить цензуру и создавать публичное поле оппозиционной коммуникации между актерами и зрительным залом. Возникает новое кино, не имеющее ничего общего с коммунистической идеологией. Кино, как его у нас называли, нравственной обеспокоенности. Об этом, наверное, будет говорить присутствующий здесь Кшиштоф Занусси, который был одним из лидеров новой волны. Возникают новая поэзия и проза. Короче говоря, появляется целая область в культуре, совершенно не контролируемая официальной идеологией и ей противостоящая. Это свидетельствовало о силе интеллигенции, но очевидной была и ее слабость. Мы умели создавать острова альтернативного общества, но в противостоянии с властями были бессильны – в том смысле, что не могли ее ни к чему вынудить.

А в 1970 году, когда начались рабочие выступления на нашем балтийском побережье (в Гданьске, в Шоцине), интеллигенция осталась в стороне. Она молчала. Потому что в 1968-м власти, напуганные событиями в Чехословакии, учинили погром интеллигенции. Ее заставили замолчать. Ее сломали, ей, можно сказать, повредили позвоночник. И поддержать протестующих рабочих она не решилась.

Понадобилось несколько лет, чтобы интеллигенция встряхнулась, чтобы освободилась от травмы, нанесенной этим погромом. И она освободилась. Когда в 1976-м начались новые выступления рабочих — на этот раз под Варшавой, в Радоме и в Урсусе, из интеллигентской среды вышел новый проект. Возник Комитет защиты рабочих. И это стало переломным моментом. Не потому, что

Комитет был столь важным, но потому, что он стал сигналом и символом. Три десятка человек, входивших в него, не бог весть какая сила в сравнении с силой государства и его репрессивных структур. Но Комитет стал немедленно «раскручиваться» радиостанцией «Свободная Европа», что способствовало формированию оппозиционной идентификации в широких слоях польской интеллигенции.

И было еще одно событие, значение которого трудно переоценить. В октябре 1978-го мы услышали по радио, что польский интеллектуал – актер, ксендз и бывший рабочий (потому что во время войны он был рабочим) – стал главой Римской католической церкви, стал Папой. Это событие трудно переоценить, потому что оно открыло возможность легально идентифицировать себя с иной, некоммунистической Польшей и с иной польскостью. Отныне патриотический шантаж, которым пользовались коммунисты, умело разыгрывая антинемецкую карту (мол, сохранение за Польшей западных земель гарантировалось советскими войсками), перестает действовать. У нас появляется «своя» Польша, королем которой является Иоанн Павел II — интеллектуал, католик, поляк. Петр Скшинецкий, возглавлявший в Варшаве кабаре «Подвал под баранами», вышел, как гласит легенда, на рыночную площадь и в состоянии, указывающем на то, что было принято много на грудь, вскричал: «Наконец-то польский рабочий чего-то достиг!»

После этого в Польше исчез страх. А власть совсем уж растерялась — она не знала, как ей с таким обществом сосуществовать и как им управлять...

Евгений ЯСИН:

Да, это все же другая атмосфера, не та, что была в Советском Союзе. У нас не было ни такой церкви, как в Польше, ни фактора Иоанна Павла II, ни массовых рабочих протестов, ни попыток интеллигенции нащупать контакты с широкими слоями населения...

Адам МИХНИК:

А у нас все это было. И когда в августе 1980 года вспыхнула забастовка на Гданьской судоверфи, которой руководили люди из Комитета защиты рабочих (они выступали в роли советников), мир увидел новую Польшу. Забастовка распространилась на всю страну. Это было неслыханно: профсоюзы демонстрировали независимость от власти, от коммунистической партии! И если бастующие рабочие требовали смягчения или отмены цензуры, т.е. боролись за права интеллектуалов, если на воротах верфи вывешивалась фотография Иоанна Павла II, а элементом протеста становилась месса во время забастовки, то это означало абсолютную делегитимацию коммунизма. Аргумент, что интеллигенты должны сидеть тихо, потому что власть в стране рабочая, пролетарская, столкновения с

жизнью не выдержал. Пролетариат, объединившись в профсоюз «Солидарность», показал «своей» власти, что он говорит собственным, причем отнюдь не коммунистическим, языком.

13 декабря 1980 года генерал Ярузельский ввел в стране военное положение. И с того дня, вплоть до переломного 1989-го, в Польше существовали две нации, два народа. Был «официальный» народ, имевший свои учреждения, свои институции. И был второй народ – тот, который ассоциировал себя с «Солидарностью» и который с этим первым «народом» вообще не имел никаких контактов. У него была другая коллективная память, другая система ценностей, другой стиль жизни.

Что же делала в эти годы интеллигенция? Многие ее представители вели подпольную жизнь. Оттуда, из подполья, мы пытались влиять на атмосферу в стране. Мы читали сами и распространяли произведения Амальрика, Буковского, Войновича. Я уже не говорю о Сахарове и Солженицыне, что само собой разумеется. Присутствующий здесь Ежи Помяновский (прекрасный критик, писатель и великий посол русской литературы в Польше), живя в Италии, перевел две очень важные книги Солженицына, а мы эти переводы нелегально размножали. Мы издавали в подполье чехов — Кундеру, Гавела, Храбола, издавали и венгров. Это было распространение независимой культуры, альтернативной официальной, и ни один уважающий себя интеллигент без такой литературы, выходившей в издательствах так называемого второго круга, обойтись не мог. Он участвовал в этой «иной» жизни хотя бы для того, чтобы продолжать чувствовать себя интеллигентом.

Когда же в СССР началась перестройка, когда стало ясно, что Москва в наши дела вмешиваться не будет, польская коммунистическая власть оказалась в идеологическом и политическом вакууме. И она вынуждена была пойти на диалог с обществом. А общество было подготовлено к такому диалогу предшествующими десятилетиями. И польская демократическая интеллигенция хорошо представляла себе, какое государство должно возникнуть на месте государства коммунистического. Судить же достоверно о том, насколько представляла это себе интеллигенция российская, я не берусь. Есть вопросы, на которые вы можете ответить себе только сами. Это не тот случай, когда со стороны виднее.

Замечу лишь, что ваша задача изначально осложнялась стремлением Горбачева ввести демократию, как он ее понимал, на территории всей советской империи. Это было невозможно в принципе, и какие бы альтернативные проекты реформирования СССР и его превращения в демократическую страну вы тогда ни предлагали, шансов на осуществление они не имели. Понятно, что польские интеллектуалы таких проблем в то время не знали.

Евгений ЯСИН:

Но и после того, как СССР распался – тоже, кстати, не без участия интеллигенции – и Россия стала самостоятельным государством, демократии у нас не получилось...

Адам МИХНИК:

Вот и интересно узнать, в чем вы видите сегодня причины этого. Мы же в 1989 году на Круглом столе власти и оппозиции добились проведения свободных выборов. И был великий исторический успех: коммунисты проиграли, а мы — выиграли. С тех пор в Польше начался процесс системной трансформации.

С точки зрения интеллигента, произошло чудо. У нас свобода, нет цензуры, можно ездить куда хочешь, можно писать все, что хочешь, и говорить все, что думаешь. И у власти лидеры «Солидарности», выбранные на свободных выборах. Но тогда же начались и сложности. Рациональный анализ заставлял поддерживать рыночные экономические реформы Бальцеровича. Но эти реформы вели к разрушению этоса «Солидарности», который был выстроен на философии справедливости. Они вызвали к жизни конкуренцию, когда кто-то должен выиграть, а кто-то проиграть. А среди проигравших оказывалась прежде всего та часть рабочего класса, которая была занята на больших предприятиях, продукция которых в рыночных условиях нередко становилась никому не нужной.

Представьте себе предприятие, которое производило, скажем, бюсты Ленина. Люди там хорошо работали и порой неплохо зарабатывали, многие из них даже получали награды и премии за рационализаторские предложения. Потому что у этих бюстов был гарантированный покупатель. Ведь каждый партийный и комсомольский секретарь должен был иметь на письменном столе такой бюст. И вот спрос на этот продукт пропадает. Хорошо, если фабрика, его производившая, сумеет модернизироваться. Например, бюсты Иоанна Павла II начнет выпускать или что-то еще. Ну а если не сумеет, то, значит, она приговорена к тому, чтобы обанкротиться. И рабочие, занятые на ней, говорят: «Что же нам устроили эти интеллигенты? Ведь мы своими забастовками обрушили коммунистический режим. Ведь мы были единственной силой, которой эта власть боялась. Без нас интеллигенция ничего бы не сделала, а теперь ее представители ездят в Париж, они стали королями, а мы получили безработицу!» Я, конечно, несколько огрубляю, но, по сути, все примерно так и выглядело.

Но и большинство интеллигенции испытало разочарование. Особенно те ее представители, которые активно участвовали в политике. Потому что для

интеллигента политика являлась нравственным выбором. Он шел в нее, чтобы противопоставить правду официальной лжи, твердость убеждений — официальной беспринципности. Но профессиональная политика даже при демократии с нравственностью полностью не совпадает, а порой очень сильно от нее отличается. Избранные в парламент — это, как правило, не самые благородные, а те, кто умеет лучше других говорить по телевизору, или те, у кого есть деньги на плакаты. И интеллигенты вскоре начали чувствовать себя маргиналами, воспринимавшимися новой властью как помеха.

А что происходило в области культуры? Если при коммунизме проблемой была цензура, то теперь произошло размывание критериев, когда в потоке информации людям трудно отличать то, что представляет собой культурную ценность, от того, что является интеллектуальным и художественным нулем. Кроме того, рыночные отношения принесли в культуру диктатуру денег. При ней издать на польском языке, скажем, Иммануила Канта гораздо труднее, чем Конан Дойля или Сименона. Потому что на этих авторов есть большой рыночный спрос, несопоставимый со спросом на Канта.

Как эта новая ситуация сказывается на польской культуре? Думаю, не лучшим образом. Возможно, мои друзья со мной не согласятся, но я считаю, что за последние двадцать лет в нашей культуре не создано столь замечательных произведений, какие были созданы в коммунистическое время. Если же такие произведения сегодня и появляются, то и они, как правило, созданы теми деятелями, которые сформировались еще в эпоху коммунизма.

Что из всего этого следует? Из этого следует, что интеллигенции предстоит приложить усилия, чтобы обрести достойную ее роль в современной жизни. И не только в культурной, но и в общественной. Именно от нее в немалой степени зависит, будет ли Польша и другие посткоммунистические страны обречены на выбор, который я определяю как выбор между Путиным и Берлускони. Интеллигенция должна предложить другой проект, противостоящий и путинизму, и берлусконизму.

Возможно ли это? Могут ли интеллектуалы повлиять на общество? Я считаю, что могут. Мы в Польше два года имели власть, которая, по моему убеждению, была аналогом той политической модели, которую реализует Владимир Владимирович Путин. Лозунги у нас были другие: русофобия, германофобия, антикоммунизм дикий, но проект государства был тот же самый. И вот в определенный момент, когда польская власть выступила с идеей люстрационного закона, чреватой терроризированием интеллигенции на ближайшие десять лет, интеллигенция сказала: «Нет». Преподаватели университетов, журналисты заявили: «Нет, мы этого не хотим и отказываем вам в послушании». И их протест был в обществе услышан, после чего и началось политическое падение братьев Качинских.

Оказалось, что мы вовсе не обречены на путинизм, что с ним можно эффективно бороться. Это, правда, требует не только решимости, но и терпения. А терпение, к сожалению, никогда не было достоинством интеллигенции.

Евгений ЯСИН:

Спасибо большое. Адам, как вы заметили, рассказал нам не только о том, что делала польская интеллигенция в коммунистической системе и как ей противостояла, но и о том, с какими проблемами эта интеллигенция столкнулась после падения коммунизма и сталкивается сейчас. Наверное, нам не удастся расчленить разговор о прошлом и настоящем, как мы первоначально планировали. Я не стану возражать, если и другие выступающие не будут в данном отношении очень уж щепетильными.

Слушая Адама, я вспомнил мысль одного из известных социологов (кажется, Парсонса) о том, что культура — это создание образцов. Но так как культура формируется во многом благодаря интеллигенции, то можно сказать, что интеллигенция производит образцы. Почему я об этом говорю? Потому что, когда интеллигенция переносит создаваемые ею культурные образцы в политику, результатом чего становятся политические и социально-экономические изменения, эти изменения неизбежно отличаются от задававшихся образцов. Вот и польская посткоммунистическая реальность оказалась отнюдь не столь «образцовой», какой она представлялась Адаму и его друзьям.

Такие отличия мы наблюдали и в нашей стране, развитие событий в которой в конце 1980-х годов в какой-то степени все же было похожим на происходившее в Польше. Совпадения реальной демократизации советской системы и демократизации в представлении Андрея Дмитриевича Сахарова, например, не было и здесь. Но со временем разрыв между образцами (целями, идеалами, образами будущего) и их воплощениями становился в России несопоставимо большим, чем в Польше. То, чего добились польские интеллектуалы, росиийским добиться не удалось. И я вслед за Игорем Клямкиным призываю российских участников нашей встречи поразмышлять о том, почему так произошло. Правомерно ли искать причину этого в различии самих образцов, задававшихся интеллектуалами наших стран? Или дело в чем-то другом?

Не знаю, захочет ли размышлять об этом Сергей Адамович Ковалев, биография которого во многом похожа на биографию Адама Михника, но я, предоставляя ему слово, хотел бы на это надеяться.

Сергей КОВАЛЕВ (председатель Российского общества «Мемориал»): «Если "политические идеалисты" моего поколения на скорые перемены не рассчитывали, то "неформалы" 1980-х уже ориентировались в своей деятельности на определенные результаты»

Меня просили, чтобы я говорил о периоде с 1985 до 1993 года. Но я не уверен, что сумею рассказать строго именно об этом периоде достаточно компетентно. Мне показалось неизбежным сильно выходить за эти временные рамки в обе стороны. Так я и буду поступать. Пример Адама Михника позволяет мне надеяться, что из этого что-то получится.

Евгений ЯСИН:

Что вас простят...

Сергей КОВАЛЕВ:

Надеюсь, простят. Но начну все-таки с середины 1980-х, чтобы дать оценку перестройке.

Тогда впервые за весь советский период истории высшие партийные иерархи – команда М.С. Горбачева – рискнули трезво и непредвзято взглянуть на ситуацию, в которой оказалась страна. Ресурсы, растраченные на баснословно дорогое оружие, – и безнадежно проигранная гонка вооружений; потуги удержать разваливавшийся лагерь сателлитов, интриги, дорогие подачки жадным, вероломным «друзьям» из стран третьего мира – и растущая международная изоляция. А внутри страны речь шла не о кризисе, но о преддверии настоящего коллапса – экономического, военного, политического. О нравственности я уже не говорю.

Стало ясно, что СССР не в силах сам найти пути к спасению, что конфронтация с Западом ведет все глубже в пропасть, что надлежит искать партнерство. Но этим поискам непреодолимо препятствовала структура власти, специально приспособленная к жесткому диктату внутри страны и жесткой конфронтации вовне. Вот почему «архитекторы перестройки» даже и не помышляли сразу начать реформацию страны. Им было не до того. Они хотели прежде реформировать партию и сделать КПСС человекообразной. Во всяком случае, чуть более динамичной, способной хоть как-то отвечать на острые вызовы быстро меняющегося мира. Такой, чтобы руководство страны перестало быть нелепым сборищем стариков, ничего не знающих и не желающих знать, ничего не умеющих, кроме обкомовских интриг и кадровых махинаций, ни к чему не стремящихся, помимо самой власти и ее денежных атрибутов и почестей.

При этом реформаторы ни в малой мере не покушались на абсолютную власть КПСС. Напротив, именно эту власть с ее зловещими особенностями они и собирались использовать в обозримом будущем для преодоления весьма плохо предсказуемых, но заведомо неизбежных и заведомо очень грозных трудностей и проблем. И первая такая трудность, обусловленная помимо предвидимого бешеного сопротивления принципиальной противоречивостью самой задачи, заключалась в том, чтобы преобразовать КПСС так, чтобы использовать ее небывалые властные возможности в целях, противных ее собственной природе.

Хотя Горбачев занимал высшую государственную позицию, нельзя было рассчитывать на долгое применение такой стратегии; возможно, задача была невыполнима в принципе. К тому же игры с КПСС были опасны: толпе аппаратчиков, хочешь не хочешь, предстояло бы исполнять вовсе несвойственную им (скорее отвратительно чуждую) работу. То были люди, отобранные суровой и сладкой партийной жизнью, при всей их дисциплинированности, люди ревнивые и завистливые, мастера интриги и саботажа, безжалостные друг к другу, особенно к бывшим лидерам, убежденно беспринципные и лживые, постоянно готовые к расчетливому перевороту, что и показал вскоре август 1991-го. Разумеется, М.С. Горбачев, А.Н. Яковлев и Э.А. Шеварднадзе все это отлично понимали.

Я не знаю, чем они руководствовались в своем выборе стратегии. Понятно, что хозяин страны, генеральный секретарь ЦК КПСС, не мог прокладывать свой курс вне партии и тем более открыто против партии. Но какие обязательства и соглашения были условием избрания Михаила Сергеевича, какие конкретно соображения определяли его первые решения и диапазон действий? Была ли это надежда, используя свой тактический талант, переиграть жестоких оппонентов, успев сделать необратимые шаги и упредив ответные удары? Или то была призрачная надежда убедить партию, склонить ее к ответственности и самоотверженности, заставить предпочесть аргументы о благе страны сиюминутным заботам о себе? Или надежда на просыпающуюся народную поддержку нового курса, способную сорвать партийный бунт (и мы помним решающую роль этого фактора, такого мощного и, увы, такого кратковременного)? Или просто упование на русский «авось»? А может быть, Михаил Сергеевич руководствовался своеобразно трансформированной максимой «делай что должно, и будь что будет», во что мне хотелось бы верить? Наконец, нельзя совсем исключить наивную веру в «социализм с человеческим лицом» и возрождение к жизни «коммунистических идеалов» или вынужденную имитацию такой веры.

Как бы то ни было, Горбачев, думаю, не видел тогда альтернативы своей парадоксальной попытке сделать ядро «империи зла», т.е. партию, упрямо загонявшую историю в тупик, движущей силой самого кардинального поворота

Новой истории. Похоже, такой альтернативой тогда, в самом начале, были только кровь и хаос.

Однако выбор, сделанный Горбачевым, вовсе не был нравственно бесплатным для реформаторов...

Евгений ЯСИН:

Дорогой Сергей Адамович, мы все-таки собрались поговорить не о Михаиле Сергеевиче, а об интеллигенции. В том числе и об исторической роли таких людей, как вы, о роли интеллектуалов-диссидентов...

Сергей КОВАЛЕВ:

Роль интеллигенции, ее возможности реально влиять на развитие событий в значительной степени определялись в то время стратегией и тактикой Горбачева и его команды. А каковы были эти стратегия и тактика в отношении той же интеллигенции? Подчас не самые значительные эпизоды становятся наиболее выразительной и доступной иллюстрацией стиля эпохи, ибо то, что кажется маловажным, не подвергается обычно серьезной маскировке. Вот, например, один из таких эпизодов.

На 10 декабря 1987 года было назначено открытие международного семинара, посвященного правам человека. Инициаторами семинара выступила небольшая группа диссидентов, бывших заключенных. Год, как мы все хорошо помним, был уже весьма ярко «перестроечным». Были официально произнесены все главные лозунги реформации: о демократии, о гласности, о возвращении к «ленинским нормам». К тому времени уже вернули (в декабре 1986-го) из горьковской ссылки А.Д. Сахарова, в январе – феврале 1987-го освободили политических заключенных. Были и другие, нарочито демонстративные признаки «раскрепощения» общества.

И вот незадолго до семинара, в конце ноября, если я не ошибаюсь, в Политбюро ЦК КПСС была адресована докладная записка от двух ближайших единомышленников Горбачева, А.Н. Яковлева и Э.А. Шеварднадзе, а также двух других лиц, подписавших ее по должности, — генерального прокурора Рекунькова и председателя КГБ Чебрикова. Это был классический донос привычной формы в духе прежних советских реалий. Дескать, ничему не наученные тюрьмой отщепенцы взялись за старое и, несомненно, намерены облить клеветой советскую власть. Иначе, зачем же они собираются рассуждать о правах человека? Персонально были выделены Л.М. Тимофеев, С.И. Григорянц, Л.И. Богораз и ваш покорный слуга; написано было «и другие», но и других этих было совсем немного.

Правда, имело место и важное отличие от советской классики. В конце доноса говорилось: было бы, мол, справедливо примерно наказать негодяев, да вот нельзя. Потому что прогрессивная мировая общественность, наша опора во враждебном мире, пожалуй, не поймет этого и того и гляди может усомниться в демократическом характере нашей перестройки. Жаль, но нужны, значит, иные меры.

Их-то и приняли. Случайные дорожные происшествия, сорвавшие участие многих; странные синхронные аварии в трех арендованных залах (пожарная опасность, тараканы, то да се) — подробности где-то описаны. Выручили безотказные московские кухни. Худо-бедно семинар состоялся.

Странная история, если вдуматься! Два члена Политбюро сообщают своим коллегам, что какие-то бывшие зеки собираются о чем-то поговорить. Зачем бы это? Царское ли это дело, писать такие докладные? Что, жандармы не могли доложить в Политбюро все что следует? А дело, похоже, в том, что два «перестройщика», подписывая донос, проходили тест на верность, или, по-лагерному, «проверку на вшивость». Тем самым они говорили этому Политбюро, что «мы с вами одной крови». С тем чтобы уцелеть и продолжать против него же смертельно рискованную игру.

Если я прав в моем допущении об уже тогда вполне осознанных командой Горбачева ходах в такой игре, то отсюда следует, что команда эта рассчитывала только на себя: она могла искать прочное партнерство или временные союзы исключительно в собственной партийной среде. В полном соответствии с методами «реальной политики» (и вопреки собственным долгосрочным целям!) она полагала неизбежным и остро необходимым, а значит, и вполне допустимым, ради тактического обмана своих действительных противников бессмысленно и лживо оскорбить добросовестных оппонентов...

Евгений ЯСИН:

А может быть, и возможных союзников в среде интеллигенции?

Сергей КОВАЛЕВ:

А может быть, в каких-то аспектах и потенциальных союзников. Мотивы же, которыми руководствовалисись лидеры перестройки, я и попытался понять. Вполне вероятно также, что помимо самозащиты целью этих лицемерных ругательств было удержать чью-то привычную карательную прыть. Но такие тактические игры, приносящие в жертву нравственность, даром не обходятся, за них рано или поздно приходится платить.

И вот здесь, по-моему, самое время резко обозначить противостояние так

называемой *«реальной политики»* и *«политического идеализма»*. Противостояние, которое имело место не только в СССР времен Горбачева и имеет место не только в современной России. Это центральное, как я думаю, противоречие современности, определяющее глобальный нравственный и правовой кризис и настоятельно требующее разрешения.

Традиционными методами осуществления «реальной политики» на протяжении веков были лицемерие, обман, агрессивность, недоверие, закрытость, национальный эгоизм. Ее естественным продолжением хладнокровно признавалась война. Что и говорить, такими методами не приходилось гордиться, но и скрыть их было невозможно; они считались неизбежными, единственными и потому терпимыми, приемлемыми, даже обязательными. Поскольку же для их эффективного применения требовалось общественное признание, давление макой государственной политики на общество, заметно подогревавшееся «патриотизмом», было чрезвычайно сильным. Вот почему ни сталинские миллионные жертвы, ни хамские декларации Гитлера, ни едкий позор Мюнхена, вопреки совести и здравому смыслу, не были восприняты в мире как смертельная угроза цивилизации, как вызов, требующий немедленного и самого жесткого ответа. Ведь такой ответ считался заведомо невозможным, а политика называется искусством возможного. И если так, то о чем же тогда речь?

Только однажды в истории было осознано, что это «искусство» зашло слишком далеко. Что «возможное» и «невозможное» должно зависеть, черт возьми, и от того, что мы по этому поводу думаем, что мы согласны допустить. И тогда, в середине XX века, всерьез показалось, что кровавый кошмар двух мировых войн, химическое и тем более ядерное оружие, Холокост и другие формы геноцида, вроде сталинских депортаций народов, наконец убедили мировое сообщество в жизненной необходимости строить принципиально иную политическую конструкцию мира. Конструкцию, основанную на новой политической парадигме.

Она сводится к весьма простым основным требованиям. Политика – искусство возможного? Прекрасно. Но эти «возможности» надлежит поставить под контроль, решительно ограничить, гарантированно исключив те обыденные политические приемы, которые привели мир к кошмару. *Право вне политики и над политикой* – вот принцип. Идеи этого круга приобрели название «нового политического мышления», к которому призывали А. Эйнштейн, Б. Рассел, А. Сахаров, М. Горбачев и многие другие, всякий по-своему. Эту концепцию по очевидным причинам, не требующим обоснования, я и называю «политическим идеализмом».

Преамбула Устава ООН и Всеобщая декларация прав человека представлялись в тот ключевой момент истории отчетливой точкой перелома мировой политической реальности, необратимым началом нравственного преобразования мира. Но не тут-то было.

Потребовались бы тома для подробного описания неопровержимых примеров циничного пренебрежения международного сообщества к собственным высокопарным заявлениям. Вспомним ковровые и атомные бомбардировки мирных городов; пол-Европы, отданной в рабство сталинской тирании; многие тысячи людей, выданных тому же Сталину в бессудную каторгу, а подчас и на смерть; политически обусловленные циничные отступления от фундаментальных принципов правосудия в Нюрнбергском трибунале, заметно снизившие эпохальное значение этого события. И это притом, что уже в самом начале войны против нацизма союзники провозгласили те самые лозунги свободы, человечности, права!

Можно было бы очень многое сказать о недостойном политическом лавировании в Совете Европы, в ОБСЕ, в комиссиях ООН, прямо противоречащем и упомянутым принципам, и уставным задачам этих важных органов. Это относится хоть к Чечне, хоть к Ближнему Востоку, хоть, например, к выборам в России, да и к иным острым проблемам.

В центре мировой политической конструкции по-прежнему амбиции и так называемые геополитические интересы государств. Самое скверное в том, что фундаментальные приципы права приспособила к делу, как свой рабочий инструмент, вполне традиционная политика. Принятые декларации отодвинуты в область ритуальной политической риторики и охотно используются «реальной политикой» ради имитаций. Но воплотить новую парадигму эта политика не способна в силу своей несовместимости с такой парадигмой.

Я говорю, заметьте, о политической практике устоявшихся представительных демократий с их разделением независимых властей, «сдержками и противовесами», гражданским обществом, свободной прессой, прозрачной политической конкуренцией. И если даже в данном случае эта практика именно такова, то какой свободы политики от внеправовых влияний можно было ожидать в посттоталитарной России?

Исходя из сказанного две вещи представляются мне теперь главными противоречивыми интенциями периода перестройки.

Первая – положительная. Повторю: впервые в советской истории Горбачев и его единомышленники были движимы чувством ответственности и стремлением руководствоваться приоритетами страны и окружающего мира. Впервые верхушка нашей власти намеревалась научиться сама и научить других действовать в рамках права, демократии, цивилизованной политики, пыталась преодолеть изоляцию СССР, сделав его компетентным и добросовестным партнером в общемировых процессах. И это целеполагание вполне оправданно считать «идеальным».

Ну да, вместе с Политбюро лидеры перестройки стремились сохранить шестую статью Конституции, узаконивавшую партийную диктатуру; ну да, когда падение этой статьи стало неотвратимым, они вместе с Политбюро решили создавать «альтернативные», но беспрекословно послушные «политические партии»: так в считанные дни из воздуха была соткана ЛДПР, вскоре начавшая одерживать свои победы. Быть может, это согласие с тем послебрежневским Политбюро снова было самозащитой, мимикрией. А может быть, и средством еще на какое-то время удержать контроль над преобразованиями в руках верховной власти, не пустить их на самотек в гущу бурных и противоречивых событий. Или просто трусостью.

Не буду гадать, не буду выставлять оценки, в том числе моральные. Для меня важно, что есть достаточно оснований для уверенного предположения: «архитекторы перестройки» ясно осознавали и свою ответственность, и свой риск, и глобальные масштабы своих планов. Противоположная крайняя гипотеза, согласно которой речь шла просто-напросто о стремлении Горбачева и его сторонников закрепиться во власти, представляется мне совсем слабой. В советской политической конструкции решимость прибегнуть к реформам — отличный способ вылететь из седла, но совершенно негодный способ для упрочения власти. В этой системе долгую власть гарантируют либо застой, либо уж реформы совсем специфического, «сталинского» свойства.

Евгений ЯСИН:

Но то, что вы называете «идеальным целеполаганием» Горбачева и его сторонников, как раз и обеспечивало им поддержку демократической интеллигенции. И какое-то время они шли вместе. Я имею в виду не диссидентов, а тех интеллектуалов из академической среды, тех журналистов, писателей и деятелей искусства, которые задавали тон в «перестроечной» публицистике и на первых съездах народных депутатов СССР. А потом часть этой интеллигенции в Горбачеве разочаровалась – в том числе и по причинам, о которых вы говорите, и связала свои надежды с Ельциным. Только вот демократии в стране так и не получилось. «Идеальных целеполаганий» для этого оказалось недостаточно.

Сергей КОВАЛЕВ:

Потому что в перестройке была и вторая интенция — отрицательная. Как обстояло дело со средствами воплощения замысла? С грустью следует признать, что подчас эти средства — весьма, впрочем, частые в политической практике — оказывались, увы, приемами самого низкого пошиба, сопряженными иногда с большой кровью. Тот непристойный пример со злосчастным диссидент-

ским семинаром, который я так подробно описал, самый безобидный — в обстоятельствах 1987-го года он не принес уже серьезных неприятностей никому из нас. Но ведь в те же «перестроечные» времена были Карабах и Сумгаит, Тбилиси и Баку, Вильнюс и Рига. И все это — трупы, пытки, произвол.

Каждое из упомянутых политических событий, каждый из конфликтов подвергался и еще будет подвергаться подробному анализу и оценке действовавших или как-то причастных политических сторон. Нет нужды доказывать, что наша — поначалу еще советская — «перестроечная» сторона (как потом и российская) была отнюдь не безупречна во всех этих перепетиях. Это все помнят, и я нимало не хочу обелять Горбачева. Но точно так же я не хочу взваливать и главную вину на зачинщиков перестройки. Дескать, у них, например, были рецедивы имперского мышления. Без таких рецидивов, скажем прямо, не обошлось, только вот для горбачевской команды они на чужом пиру похмелье.

Я могу, разумеется, ошибаться, но многое из того, что по обыкновению ставится в вину этой команде или лично Горбачеву, представляется мне, пожалуй, чуть-чуть больше их судьбой, нежели виной. В том числе, может быть, даже кровопролитие около вильнюсского телецентра при неудачных попытках дозвониться тогда Горбачеву из Литвы.

Что значит больше судьбой, чем виной? В обиходной политике лидер всегда стеснен в своих решениях. Он должен искать баланс интересов, оценок, мнений не только в международной, но и в своей «внутриполитической» среде – в смежных ветвях власти, среди коллег, советников, общественных авторитетов, в академических кругах, в отношениях с оппозицией. Но в нашем случае, как вы понимаете, речь шла совсем не о тех стеснениях, которые имеют место в системе «сдержек и противовесов». Для «них» это «нормальная» политическая практика. А наши лидеры переломного периода отнюдь не находились в атмосфере нормальной практики. Такой практики и не могло быть среди руин не вполне еще рухнувшей тоталитарной системы. Какие уж там «сдержки и противовесы»! «В Кремле не надо жить...Там... всех Иванов злобы, и самозванца спесь взамен народных прав».

Я думаю, зависимость Горбачева от неожиданных, подчас фантастически нелепых факторов многократно превышала ту, которая еще оставляет политику возможность держаться некоторого курса, а не торговаться невесть с кем относительно разнообразных решений бессвязного множества мелких, а то и никчемных задач. На своей главной, «внутрипартийной» арене наши «перестройщики» работали в поле огромной злобной напряженности, окруженные центрами значительного влияния, подчас и силового. Место процедуры занимала интрига. Молодой парламент в целом годился больше для телевизора, нежели для работы, притом что парламентская трибуна

сыграла тогда значительную общественную роль. Довольно многие депутаты простодушно путали законотворческую деятельность с теми занятиями, которым десятилетиями предавались советские верховные советы. Так что и парламент, тоже раздираемый страстями, никак не мог стать ареной честной политической конкуренции, содержательных дискуссий и взвешенных решений.

Вот почему заявленные цели реформаторов, отделившись от политической повседневности, превращались в лозунги — чем более пышные, тем более необязательные. А политическая повседневность из упрямого воплощения принципиальных основ выбранного курса все более превращалась в вынужденное беспринципное маневрирование. Вдохновленные идеей превращения «империи зла» в «маяк свободы», лидеры грандиозного проекта завязли в Realpolitik, не сумели вырваться из когтей проклятой российской судьбы, которую мы веками сами себе строили.

Я понятия не имею о том, что на самом деле происходило на кремлевской кухне в связи с упомянутой вильнюсской трагедией, заклеймившей нас позором. Но очень легко представить себе, как Горбачев убедился, что он никакими шагами не может отвергнуть решение о танковой атаке, если оно вообще обсуждалось, или не в состоянии пресечь операцию, начатую помимо него. Что же, по-вашему, должен был бы сказать хозяин страны, если бы он снял трубку? «Всем сердцем сочувствую, но, к сожалению, помочь вам бессилен»? В существовавших тогда в политических верхах условиях и, главное, в рамках «реальной политики» я просто не вижу достойного выхода из легко представимой ситуации.

Но «реальная политика» в изобилии плодит такие ситуации каждый день. Тот совершенно бескровный и предельно гадкий случай высочайшего доноса о диссидентском семинаре выразителен только тем, что он документирован и в нем все как на ладони. Однако каждый из нас знает многие сочащиеся кровью ситуации, созданные «реальной политикой» и этой же политике предъявленные для разрешения, в свою очередь влекущего новую кровь.

Так что же, этот кровавый заколдованный круг — неизбежное мистическое свойство Realpolitik? И этот начальный «реализм» порождал и порождает все последующие наши беды? Может быть, трагедия Чечни коренится в Сумгаите, Баку, Ходжалы и Вильнюсе? Может быть, и разгон чудовищного хасбулатовского парламента — чудовищного, но парламента, чудовищного, но разогнанного — со временем отзовется кровью где-то еще? Может быть, весьма условные президентские «выборы» 1996 года и аукнулись нам совсем уж запредельным циничным хамством, с позволения сказать, «выборов» 2007-го и 2008-го? А все это вместе и обернулось в конце концов путинским авторитаризмом и может обернуться еще чем-то гаже, опаснее, порочнее этого авторитаризма? Приехали!

Игорь КЛЯМКИН:

Я так понимаю, что в данном случае вы имеете в виду не любую Realpolitik, а Realpolitik в процессе реформирования тоталитарной системы. Наш опыт действительно показывает, что осуществляемая «сверху» эволюционная, поэтапная трансформация такой системы в систему демократическую невозможна. Тем более если речь идет о государстве имперского типа, о чем Адам Михник уже говорил. Между тем не только у «архитекторов перестройки», но и у многих российских интеллектуалов были на этот счет иллюзии. В отличие, кстати, от интеллектуалов польских и не только польских, у которых таких иллюзий относительно возможностей перестройки коммунистических политических режимов не наблюдалось...

Сергей КОВАЛЕВ:

Меня сейчас волнует, как наше недавнее прошлое может сказаться на нашем будущем. Меня волнует судьба идей свободы и партнерства, преобразования страны в русле мирового демократического опыта — исходных идей перестройки, без которых, вне всякого сомнения, России не вырваться из своей русско-византийской судьбы, «бессмысленной и беспощадной», из своей раболепной, ленивой, жестокой и лживой истории. Что, «реальная политика», «искусство возможного» затоптали и закопали эти идеи навек?

Да ведь похоже, что и так, если мы согласимся, будто «искусство возможного» – единственная модель. А искушение согласиться, как и раньше, велико. Практические средства осуществить действенный контроль права над политикой не просто не разработаны, они туманны. Политик-идеалист по определению легко приобретает репутацию легкомысленного популиста или, хуже того, городского сумасшедшего. Такой политик – несомненная жертва интриг, провокаций, клеветы, но он не пожелал бы в борьбе со всем этим воспользоваться самыми эффективными и быстрыми приемами – просто в силу своей порядочности, своего «идеализма». Но эти качества уже сами по себе серьезно препятствуют народному признанию. Короткая и триумфальная посмертная слава А.Д. Сахарова, по-моему, исключение, подтверждающее правило.

Порядочность противника – грозное оружие в руках мерзавца. Открытость и бескорыстность целей, прозрачность средств делают политику, если можно так выразиться, вызывающе уязвимой. В этом смысле против «политического идеализма» – вековой опыт. И он же свидетельствует о том, что лавирование применительно к обстоятельствам, широкий и невзыскательный набор тактических шагов, включая обман, интригу, примитивную демагогию, как правило, эффективно.

Но они подчиняют себе цель, превращая ее в свое подобие. И потому эти инструменты для достижения высоких целей категорически не годятся. Тут – развилка, природа которой не предполагает третьего решения. Хочешь не хочешь, придется делать волевой выбор из двух возможных вариантов.

Один из них — «реалистический» — мы уже опробовали. Результаты у всех перед глазами. А политический идеализм, который представляется мне нечеловечески трудным, но единственным выходом из нашей почти безвыходной «земной» ситуации, никогда не был определенно заявлен, теоретически обоснован, четко сформулирован. Разве что не названная этим именем концепция очень аккуратно и предположительно, но все же, по-моему, вполне отчетливо выступала в публикациях А.Д.Сахарова.

Почва для этой идеологии складывалась в советской интеллектуальной оппозиции 1960—1980 годов. Хотя сегодня я и говорил исключительно о *политическом* идеализме, с полной категоричностью утверждаю, что оппозиция та не была политической. Если хотите, это было проявлением нравственной несовместимости с существовавшим тогда режимом. Все, что мы в те годы делали, включая публикации самиздата, о которых вспомнил Адам Михник, — все это было упрямым стремлением заслужить право на самоуважение, защитой чувства собственного достоинства. Появилось не так уж мало людей, готовых купить себе такое право за тюремный срок. Это и была оппозиция.

Та волна интеллектуалов никакого непосредственного, прямого влияния на политическую эволюцию, переживаемую страной, не имела. Тогда только начинало складываться очень важное, но опосредованное, косвенное влияние, которое сказалось заметно позднее. Однако в скором времени мы его не предвидели, и, честно говоря, оно нас не занимало.

Разумеется, мы надеялись, а может быть, даже и верили, что когда-то наши заявления и протесты, наш самиздат, наши суды и сроки, воздействуя на потомков, внесут некий свой вклад и в политическую эволюцию. Как говорится, «декабристы разбудили Герцена...». При жизни же мы ни на что не рассчитывали. Я очень хорошо помню, как Б.И. Цукерман, весьма глубокий самиздатский публицист, один из самых высоких авторитетов той волны, в ответ на реплику о том, что Византия 300 лет заживо гнила, прежде чем рухнуть, задумчиво сказал: «Что ж, 300 лет меня вполне устраивают».

Чем же занималась эта странная группа интеллектуалов в ожидании столь отдаленных сроков? Сошлюсь на авторитетный источник, весьма известное интервью Андрея Дмитриевича Сахарова. Заметив, что не ожидает заметных изменений в СССР в обозримые сроки, он в ответ на вопрос «Зачем же вы делаете то, что делаете?» сказал, что интеллигенция умеет делать только одно – строить идеал. Вот пусть каждый и делает что умеет.

Мы и строили идеал - основу, как я полагаю, политического идеализма,

хотя никто тогда так не говорил. Мы изобретали велосипед, увлеченно придумывая справедливые нормы права и процедуры, демократические максимы, основы «политической этики», если можно так сказать. И очень радовались, узнавая от своих более образованных друзей, что некоторые из наших сырых соображений давно уже работают в далеком мире в гораздо более совершенном виде. И жадно читали об этом, когда удавалось, не очень доступную в СССР литературу.

Насколько могу судить, заметное большинство в нашем круге составляли неверующие или агностики. Однако же почти каждый из нас с облегчением (может быть, даже и с удовольствием) быстро научался совершенно религиозному отношению к жизни — «делай что должно, и будь что будет». Вообще, совершенно естественным в той жизненной атмосфере было первенство должного перед сущим. И эта жизненная позиция, этот «идеализм» были результатом, достижимым прямо сейчас и ценимым много выше того потенциального отдаленного будущего результата, о котором, повторю, мимоходом все-таки тоже думали.

Впрочем, среди тогдашних диссидентов были и «реальные политики», серьезно полагавшие, что они либо уже создают весомую политическую оппозицию (ДДСС – Демократическое движение Советского Союза), либо начнут в ближайшее время ее строить. По-моему, это было скорее направление мыслей, нежели что-то действительное. Его придерживались, в частности, немногие коммунисты, сохранявшие, по крайней мере тогда, свои убеждения. Самый значимый и яркий пример – Петр Григорьевич Григоренко. Подчас такие политические поползновения отражали некую традиционность мысли, амбициозность, даже некоторое легкомысленное, как мне кажется, тщеславие (П.И. Якир и В.А. Красин). Думаю, были и явно талантливые, не состоявшиеся по русской судьбе политики, как В.К. Буковский. Но я не буду останавливаться на этом, вряд ли определяющем направлении протестной активности 1960—1980-х годов. Наверное, оно заслуживает обсуждения, но это не моя тема, она мне трудна.

Итак, в подавляющем большинстве мы не верили в близкие перемены. Знаменитая сахаровская оговорка относительно «крота истории, роющего незаметно» из упомянутого уже интервью, не есть ни уверенное предсказание, ни даже вероятное предположение. Это было допущение, которого требовала академическая добросовестность, всегда свойственная Андрею Дмитриевичу. Скромное, очень аккуратное допущение, вероятность которого он сам оценивал весьма невысоко. Боюсь ошибиться, но мне как будто вспоминается скепсис по поводу этого допущения, выраженный им однажды в разговоре. Но если в оценке вероятности допущения он ошибся, то само допущение оказалось в точку.

Здесь естественно вспомнить и блестящую работу Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», содержавшую основательный анализ и довольно убедительные доказательства того, что советская

власть не вечна. Но это все-таки литературная реминисценция. Если бы Орвелл озаглавил свою книжку, например, «2058», я думаю, что Андрей этот год и поставил бы в заголовок своей брошюры.

Только после того как сверху началась перестройка — по тем причинам и по той «внутрипартийной» модели, о которых я уже говорил, — интеллектуальная оппозиция стала как-то влиять на происходящее в стране. Это влияние было двояким.

Влияние старой гвардии «сидельцев», представлявшееся нам нулевым, как оказалось, накапливалось на Западе, пробуждало там острый общественный интерес к варварским советским проблемам, таким необычным и вызывающим для западного интеллектуала, и вылилось в небывало мощное давление на советскую власть, как только она стала искать западной помощи. То есть это «диссидентское» влияние оказалось непрямым, опосредованным цепочкой: диссиденты – международная общественность – западная дипломатия.

Здесь очень многое не только представляет интерес, но и вызывает удивление. Почему, например, Запад так дружно спал в кровавые сталинские годы и так резко проснулся в относительно вегетарианские брежневские? Полезно было бы обсудить весьма яркие эпизоды и этой летаргии, и этого бурного пробуждения, и новой нынешней дремоты. Кстати, содержательная дискуссия в данном направлении могла бы прямо затронуть насущные глобальные проблемы нашего нераздельного мирового сообщества — вида homo sapiens. Но сегодня для этого нет уже ни времени, ни сил.

С перестройкой возникло, однако, и совсем другое влияние совсем других интеллектуалов – на сей раз вполне прямое. Я имею в виду тех, кого стали называть неформалами. Не буду останавливаться на истории организованных ими движений. Скажу лишь, что это были наши троюродные братья – они тоже дети самиздата. Существенно также, что неформальные движения были действительно массовыми. Они быстро возникали, преобразовывались, порой исчезали, но в целом никогда не прекращали свое существование. Само обилие этих организаций и многочисленность их членов показывает, какой распространенной на самом деле в Советском Союзе была та нравственная оппозиция режиму, небольшой верхушечкой которой были мы – так называемые диссиденты.

В доперестроечные времена неформалы, как я полагаю, не были активны по двум причинам. Одна причина — нормальная и естественная осторожность. Ну сажают за это. Кому хочется ставить под угрозу свою семейную жизнь, любимую работу? Ради чего, каков будет результат?

Другая причина – близкая к первой, но без столь выраженного оттенка страха. Просто это были люди, склонные к Realpolitik. Они не хотели безрезультатных телодвижений. Разница между нами состояла в том, что мы, включая и автора

«крота истории» Андрея Сахарова, совершенно не рассчитывали ни на какой близкий результат наших поступков, кроме внутренней свободы и тюремного срока. Конечно, как уже говорилось, приятно было думать, что когда-нибудь и наша роль в истории этой страны окажется не пустой, но нас-то уже не будет. А неформалы, вдохновленные наступившими переменами, рассчитывали на результаты. Полагаю, что перестройка пошла быстрее, чем планировали «архитекторы», и не так, как они ее задумали, в какой-то мере благодаря усилиям именно неформалов. Впоследствии же некоторые из них оказались относительно близки к власти, неся ответственность за ее недостатки, просчеты, а порой и преступления, которые тоже имели место.

В каком-то смысле, между прочим, и Егор Тимурович Гайдар, если и не прямо неформал, то, во всяком случае, со своим экономическим семинаром, задолго обсуждавшим идеи преобразований, недалек был от умеренного и самого профессионального края этих движений. Можно назвать и другие имена. Сейчас модно отзываться о деятельности этих людей критически. Конечно, она была небезошибочна. Но тем не менее никто не доказал, что имеет заведомо лучшие решения. Значит, скорее всего, в страшных условиях тех лет эта деятельность была среднестатистически положительна и результативна.

Не забудем и то, что к тому времени высшая власть волевым решением совершила новый выбор. Я, например, датирую его сентябрем-октябрем, может быть, ноябрем 1991 года. Этот выбор сделал Борис Николаевич Ельцин. К его чести должен сказать, что он честно старался научиться основам демократии. Он был добросовестен, но у него были и свои границы. Прежде всего – его партийный опыт и возраст.

В чем же был выбор? После поражения августовского путча некоторые люди – я не был самым энергичным из них, но тоже входил в эту группу – уговаривали Бориса Николаевича немедленно собрать Съезд народных депутатов. Потому что проигравшие коммунисты, которые составляли в депутатском корпусе тех времен 87 с лишним процентов (задумайтесь об этой цифре!), готовы были принять любую модель политического развития. Просто они боялись, что победители поступят с ними так, как они сами поступили бы с неприятелем, одержи они победу. И у нас наконец появлялся шанс иметь прозрачную, открытую, добросовестную политику ценностей, а не интересов. Общечеловеческих ценностей. Но Борис Николаевич сказал: «Все вы ошибаетесь. Время работает на нас». И уехал отдыхать после блистательной победы.

А вернулся он уже в окружении тех «демократов», которых тщательно отобрал. Я не стану давать им характеристики. Все их помнят. Это были Сосковец, Коржаков, Грачев... Они и составили ближний круг президента. А в это время по вековой русской традиции кабинет Гайдара занимался чем угодно, но только не политикой. То есть он занимался очень важным делом — экономикой, но от

политики был отстранен. А дальше все шло как по нотам. И пришло туда, где мы оказались.

Оставшееся время я потрачу на то, чтобы предложить, мне кажется, самую важную задачу будущим интеллектуалам, наделенным гражданственностью и чувствующим ответственность за страну, в которой они живут. Нескромно полагаю, что та волна интеллектуалов 1960—1980-х годов, к которой я принадлежал, заложила в русской общественной мысли некие ростки нового политического мышления. Того мышления, которое я называю, в противоположность политическому реализму, политическим идеализмом. Убежден, что за этим политическим течением будущее. А задача новых интеллектуалов — добиться, чтобы универсальные ценности перестали быть заклинанием в опытных политических устах.

Я понимаю, насколько такая задача трудна: ведь в мире ничьи усилия не направлены на преобразование политики. На то, чтобы заставить ее руководствоваться этими универсальными ценностями. Это мировой кризис – нравственный и правовой. С ним и в нем мы сегодня живем, и дальше нам будет жить еще труднее.

Евгений ЯСИН:

Очень содержательное, по-моему, выступление. Меня, правда, поначалу смущало, что Сергей Адамович так много внимания уделяет деятельности Горбачева и его команды, все-таки это не совсем по теме. Но потом я понял, как важно было обозначить тот политический контекст, в котором действовала демократическая интеллигенция горбачевского призыва. Потому что ее политическая активность в годы перестройки — это продукт прежде всего самой перестройки. И от того, что и как делали ее «архитекторы», во многом зависели и мотивация этой активности, и ее качество.

И еще, сравнивая выступления Сергея Ковалева и Адама Михника, я обратил внимание на то, что сами углы зрения, под которыми они рассматривают прошлое, свидетельствуют, возможно, о существенных различиях социальной среды, в которой им приходилось действовать. Польское общество пошло за Адамом Михником и его единомышленниками. А готово ли было идти за диссидентами, вернувшимися из мест заключения, или за лидерами неформалов общество советское? Я лично в этом отнюдь не уверен.

Да, очень популярны были интеллектуалы, входившие вместе с Сахаровым в Межрегиональную депутатскую группу, о которой Сергей Адамович не говорил вообще. Да, профессора Гавриил Попов и Анатолий Собчак были даже избраны мэрами Москвы и Санкт-Петербурга. Но и они, и многие другие оказывались в том политическом пространстве, которое формировалось сначала Горбачевым,

а потом перипетиями его противоборства с Ельциным. Могла ли из этого противоборства генерального секретаря ЦК КПСС и одного из членов Политбюро вырасти российская демократия? Осознавало ли общество политический смысл этого слова, предполагавшего трансформацию самого устройства российской власти, преодоление ее персоналистской природы? У меня на сей счет есть больше сомнения, а после выступления Сергея Адамовича их стало еще больше.

Вот почему нам чрезвычайно интересно, как польская интеллигенция готовила поляков именно к системным переменам. Я имею в виду не только деятельность ее политизированных групп, к которым принадлежал Адам, но и деятельность художественной интеллигенции, людей искусства, о которых Адам тоже упомянул в своем выступлении. Думаю, что Кшиштоф Занусси – всемирно известный польский кинорежиссер – расскажет нам об этом более подробно.

Кшиштоф ЗАНУССИ:

«Во времена военного положения, введенного генералом Ярузельским, вся уважающая себя польская интеллигенция объявила бойкот государственному телевидению, что существенно повлияло на общественные настроения»

Я рискну говорить по-русски, хотя это для меня совсем чужой язык. Остается лишь надеяться, что язык Пушкина от моего выступления не пострадает. И еще, конечно, на вашу толерантность.

Организаторы нашей встречи поставили вопрос о той роли, которую сыграла интеллигенция в демонтаже коммунистической системы и утверждении в стране демократии. Согласен с Адамом Михником в том, что роль эта в Польше была заметной. Но она и в самом деле могла быть сыграна только потому, что значительные слои польского общества коммунистическую систему отторгали и были открыты для восприятия наших идей, наших фильмов, спектаклей и литературных произведений.

Адам упомянул о польском новом кино тех лет, получившем потом название «кино нравственной обеспокоенности». Когда мы делали наши первые фильмы, мы не знали, что это назовут именно так, а когда название появилось, мы не думали, что оно приживется. Но оно прижилось. Наверное, потому, что суть дела передавало точно.

Что объединяло многих моих коллег? Нас объединяло острое чувство некомфортности жизни в этическом плане. Подчеркиваю: не в материальном (уровень жизни в те годы заметно поднялся), а именно в этическом. Дискомфорт проистекал из того, что вокруг было столько лжи, столько лицемерия и цинизма, что по карьерной лестнице могли продвигаться вверх лишь люди серые или просто мерзавцы. И это чувство было привнесено в наше

новое кино, которое нашло огромную поддержку у нашей публики. Потому что она испытывала те же чувства, что и мы.

Почему власть пропускала наши фильмы на экраны? Конечно, что-то пробовали вырезать, и были чиновники, которые гордились тем, что что-то вырезали, получая возможность продемонстрировать начальству свою бдительность. Но, с другой стороны, у власти уже не было былой уверенности в себе. Да и придираться к нам ей было трудно, потому что этическое противостояние формально не было противостоянием коммунистическим идеалам, включавшим в себя, как одну из главных, и нравственную составляющую.

Оглядываясь назад, я размышляю о том, почему рушатся бесчеловечные политические системы, а также о том, в каких симптомах их изжитость первоначально проявляется. Она проявляется не только в нравственном отторжении, но и в некоторых других вещах.

В сталинские времена, когда я был мальчиком, я был уверен, что так, как есть, будет до конца моей жизни. В детстве так кажется всем. Помню, как в школьном конкурсе я выиграл неожиданную награду — «Большую советскую энциклопедию». Она до сих пор стоит у меня дома — красиво так выглядит. А потом, в 1955 году, я решал, куда пойти учиться после школы. Меня привлекала архитектура, но строить что-то в духе социалистического реализма, над которым мой отец, бывший конструктором, ежедневно издевался, мне претило, а надежд на перемены в стране у меня все еще не было. И я пошел в физику.

А физики — это люди, зачастую очень независимо думающие. И я помню, как один из профессоров, которому я рассказал про мою «Большую советскую энциклопедию», посоветовал: «Посмотрите, что там написано про кибернетику». Я посмотрел — это была непрофессиональная статья о том, как вредны империалистические идеи. И тот же профессор при нашей новой встрече сказал: «Если они так боятся нового знания, то их ждет скорый конец». Он не дожил до времени подтверждения своей правоты, но я вспомнил его слова, чтобы показать, на основании каких симптомов люди могут судить о нежизнеспособности политических систем.

Евгений ЯСИН:

Наши власти сегодня тоже многого боятся. Например, предоставлять обществу правдивую информацию, которую они подменяют пропагандой. Можно сказать, что у них страх перед информационной эпохой, и они пытаются от нее Россию оградить, как когда-то ограждали от кибернетики. Возможно, это тоже симптом нежизнеспособности, и мы еще вспомним вашего профессора...

Кишитоф ЗАНУССИ:

Я ему, кстати, тогда не поверил. Наверное, мне были нужны другие, более очевидные симптомы, чтобы у меня возникло такое же представление. И вот – это были уже 1970-е годы – после длительной работы за границей я вернулся в Варшаву, и мою машину как-то остановил наш социалистический милиционер за какую-то водительскую ошибку. Он был абсолютно прав, и я готов был заплатить штраф. Милиционер взял мой паспорт, посмотрел и сказал: «А, вы кинорежиссер и вы много работаете за границей?» Я ответил: «Да, я много работаю заграницей». А он мне: «Значит, вам этот штраф не страшен». Я согласился: «Нет, мне он не страшен». После этого он вернул мне паспорт со словами: «Ну, тогда не стоит штраф и выписывать». И он меня оставил, но посмотрел с огромным уважением: если я богат, значит, я прав. И это был знак: что-то кончается, люди руководствуются в жизни критериями оценок, которые ничего общего не имеют с теми, что предписываются им официально.

Помню и другие аналогичные примеры. В те же 1970-е я снимал для немецкого телевидения документальную картину про польского композитора Кшиштофа Пендерецкого. И по желанию немецких продюсеров я спрашивал людей на улицах, не завидуют ли они Пендерецкому, который в социалистические времена был уже сказочно богатым человеком. У него был дом, как дворец, огромный сад и все прочие атрибуты богатства. А люди все отвечали: «Нет, мы ему не завидуем. Он заработал эти деньги за границей, значит, они чистые. И хотя музыки его не выносим, но мы очень гордимся им». Вот в такие моменты я и начинал чувствовать, что коммунистическая система очень уж долго не продержится. Однако когда именно и в результате чего она исчезнет, я не знал.

А во времена военного положения, введенного генералом Ярузельским, появились и симптомы иного рода. Совершенно неожиданно возник бойкот государственного телевидения со стороны наших артистов, что существенно повлияло на общественные настроения. Практически все выдающиеся актеры отказались выступать на нем. И все люди других профессий, которым было присуще чувство самоуважения, тоже не давали в то время никаких интервью. А люди на улицах нас приветствовали, если кого-то узнавали: «Спасибо, что вас нет на телевидении!»

Конечно, актеры, как и почти все остальные, бывают склонны к конформизму. Но ведь и конформистские установки заставляли в то время вести себя героически, потому что это нравилось народу. Конформизм по отношению к нему работал на репутацию, а конформизм по отношению к власти ее убивал. Это был такой момент, когда престиж не только актеров, но и других групп интеллигенции поднялся очень высоко.

А потом прежней системе, в подтверждение всех симптомов ее кризиса, и в самом деле пришел конец. Адам рассказал, как это происходило. Конечно, интеллигенция горячо поддерживала перемены. Не могу сказать точно, но, по моим наблюдениям, более 80% творческих людей были настроены против бывшей системы и приветствовали ее замену системой новой. И большинство из них понимало, что речь идет не просто о смене людей у власти, а именно о смене системы.

Это хорошо понимало и большинство польского общества. Поэтому польская демократия и состоялась. А как обстояло в то время дело в России, я, как и Адам Михник, судить не берусь. Но я готов вслед за ним утверждать: польская интеллигенция испытала не меньшее разочарование в состоявшейся полноценной демократии, чем российская — в демократии деформированной.

Скажу о том, что коробило и коробит лично меня. То, что раньше выглядело одним из симптомов изживания коммунизма (высокий статус денег, особенно честно заработанных, противостоял безжизненным идеологическим догмам и основанной на них искусственности карьер), после его краха обнаружило свою культурную, ценностную ущербность. И прежде всего я имею в виду отношение широких слоев населения к интеллигенции, оценку ее деятельности не на основании интеллектуального или художественного качества этой деятельности, а на основании внешних по отношению к ней критериев.

Первый раз я это заметил, когда у меня брали интервью на польском телевидении. От меня хотели, чтобы я высказался, как католик, относительно одной из программ на радио «Мария», в Польше довольно влиятельном. И при этом телевизионщики попросили, чтобы я ответил на их вопросы перед моим домом. Я поинтересовался, зачем им это нужно. «Вы знаете, – объяснили они, – если у вас большой дом (а у меня был большой дом) и если вы выступите на его фоне, то вас будут лучше слушать, вы будете более авторитетны в глазах людей». Значит, подумал я тогда, интеллигент, который разбогател, заслужил, чтобы его слушали, а если бы я был бедным, то мои слова не имели бы значения. Но дело ведь еще и в том, что богатство или бедность человека искусства тоже зависят от массового потребителя!

В прошлые века, во времена, скажем, Гайдна и Моцарта, это было не так. Вы прекрасно знаете, что они были очень богатыми людьми, хотя их творчество адресовалось очень небольшой группе слушателей. Моцарт или Гайдн сочиняли музыку для нескольких десятков человек в салоне. Даже не для концертного зала, который появился лишь в XIX веке. Но покупательная сила епископа, императора и всех образованных людей была тогда такая, что эти музыканты могли стать очень богатыми. Моцарт, правда, свои деньги потом растерял, но это уже другой вопрос. А сейчас мы зависим от массового потребителя. Причем зависим вдвойне: от его спроса на наше творчество зависит наше

благосостояние, а от уровня нашего благосостояния зависит наш авторитет в глазах этого потребителя!

Вот почему сегодня, когда мои студенты предлагают мне свои проекты, первый вопрос, который я им задаю: «Кому вы хотите нравиться? Ценителям искусства или народным массам?» В коммунистические времена этот вопрос так остро, как теперь, еще не стоял. Потому что коммунисты заблокировали процесс, характерный для западного демократического мира. Этот процесс начался у нас с опозданием.

До падения коммунизма мы жили в очень иерархическом, вертикальном обществе. Мы спокойно читали тогда «Восстание масс» Ортеги-и-Гассета на польском языке, но это казалось какой-то абстрактной литературой, нас непосредственно не касавшейся. А теперь так уже не кажется. Теперь совокупная покупательная сила масс огромная. И она, эта сила, коррумпирует все ценности. Ведь если мы хотим нравиться массам, то мы должны приближаться к их уровню, заведомо очень низкому. В противном случае наши произведения будут плохо продаваться. Художник, который хочет нравиться избранной публике с развитым вкусом, с экономической точки зрения шансов на успех не имеет. Потому что эта часть общества сколько-нибудь значительными деньгами не располагает и оплачивать высокое искусство не может. И это для нас стало новостью. Раньше мы с этим не сталкивались

При коммунистах интеллигенция хотела рынка и демократии. Она получила то и другое, но при этом оказалась в зависимости от массовых вкусов и предпочтений. На Западе это произошло намного раньше. Да и в Польше это началось еще в докоммунистическую эпоху.

В XIX веке наша литература, скажем, обращалась только к элите, потому что большинство было неграмотным. Я помню мою бабушку, которая удивилась, когда в 1920-е годы в Польше появилась литература для служанок. «Разве служанки уже стали грамотными? — спрашивала она. — Они уже умеют читать?» Ведь раньше сочинять романы для служанок никому не приходило в голову, потому что такие романы некому было бы читать. А теперь писатели (и не только писатели) оказались в зависимости от массового спроса. В коммунистическую эпоху мы зависели от государства, которое финансировало искусство. Нам такая зависимость не нравилась, но при демократии мы столкнулись с проблемами, о которых не могли даже предполагать.

Так что в том смысле, который я имею в виду, демократия для творческой интеллигенции — это огромное поражение. Потому что появившиеся у нас «олигархи», или, точнее, богатые люди (настоящих «олигархов» в Польше почти нет), в отличие от западных миллионеров и миллиардеров, богатыми стали двадцать лет назад, а то и позже. За такое короткое время интерес к культуре не формируется. Поэтому заказывать у того же Пендерецкого новые

произведения они не будут. Они еще до этого не дозрели. Вот откуда у нас чувство определенного поражения.

Евгений ЯСИН:

Но то же самое наблюдается не только в Польше. Примерно то же самое мы видим и в России, где демократии нет, и на Западе, где она развита больше, чем в Польше...

Кишитоф ЗАНУССИ:

Значит, в области культуры Россия тоже демократическая страна. А демократия не любит героев и не признает авторитетов. Демократически настроенные люди чувствуют себя хорошо, когда все равны и никаких авторитетов нет. И так, вы правы, обстоит дело не только у нас, но и в Западной Европе. Ведь и там героические литературные персонажи со сцены исчезли. Кто и где ставит сегодня Шиллера? Никто и нигде. Герои Шиллера не могут импонировать человеку, желающему постоянно слышать, что все люди равны. Во время борьбы за демократию Шиллер был очень востребованным автором. Как и Виктор Гюго, например. А когда демократия утвердилась, они стали не нужны.

Итак, вопрос, который перед нами стоит, — это вопрос о том, кому мы должны нравиться. При коммунистическом режиме ответ был ясен: мы не должны нравиться властям и должны нравиться тем широким слоям общества, которые настроены против властей. И у нас осталась память о том, как общество, даже если не понимало глубоко наше творчество, ценило то, что мы пробовали, как элита, брать на себя ответственность за других, за страну и ее будущее. Даг Хаммаршельд — шведский аристократ, бывший секретарь Организации Объединенных Наций, высказался в свое время очень точно. Он сказал, что элита — «это не те, которые стоят высоко, а только те, которые принимают бескорыстно ответственность за других». И польские интеллектуалы, художники и артисты брали на себя такую ответственность.

А что же сегодня? По правде сказать, я совсем не пессимист, как вам, возможно, могло показаться. Я верю, что развитие культуры возможно и при демократии, хотя и не так быстро, как хотелось бы. В этом смысле изменения можно заметить и в Польше. На смену поколению, для которого нет никаких авторитетов, никаких настоящих образцов кроме тех, которые выставляются в модных магазинах, приходит другое поколение. И я уже вижу, как среди молодежи, с которой сталкиваюсь в разных местах как преподаватель, возникает интерес к интеллектуалам и людям искусства. Она начинает осознавать, что эти люди живут более богатой жизнью, чем миллионеры. Намечается поворот к

ценностим высокой культуры и нравственности, к осознанию того, что эти ценности делают жизнь более комфортной, чем у тех, кто озабочен только высокими заработками. Я говорю прежде всего о молодежи, которая выбирает творческие профессии. Но идеализм, который я у них наблюдаю, может оказаться заразительным и для других.

Короче говоря, с представителями нового поколения я чувствую себя в Польше гораздо лучше, чем с поколением их родителей. Молодые люди ищут такую модель жизни, при которой есть место для идеальных устремлений и есть среда, в которой такими устремлениями можно поделиться с другими, строить на их основе общение. А с этого, быть может, начинается и идеализм политический, о котором говорил Сергей Ковалев.

Однако в нормальной демократической стране (а Польша, по большему счету, таковой является) люди искусства, по-моему, в политику погружаться не должны. Если демократия работает, то им там делать нечего. У нас был сбой, и два года страна двигалась в нехорошем направлении (Адам Михник об этом уже рассказал), но потом люди своим голосованием на выборах это опасное направление отвергли. Но это и значит, что наша демократия сработала. А если так, если положение в стране в целом нормальное, то для любого человека искусства политика не должна быть интересной.

Политика — это неинтересное для нас пространство, потому что настоящая политика — это налоги, а размерами налогов и их распределением через бюджет пусть занимаются специалисты. Мы же должны включаться в общественную жизнь только тогда, когда эта жизнь начинает отклоняться от нравственных ценностей. Но и в таких случаях, строго говоря, речь идет не о политической деятельности.

Когда мы, выступая против лжи, произносим слово «правда», это не политика, это выше политики. Когда мы говорим «насилие» или «несправедливость» — это тоже выше политики. И когда политическая реальность начинает таким словам соответствовать, мы не имеем права молчать. Тогда мы молчать не можем и не должны. Но пока у нас в Польше обстановка, вполне приемлемая с точки зрения нравственности. И поэтому мы можем заниматься своими профессиональными делами.

А в заключение — еще один штрих к картине нашего коммунистического прошлого. В 1984 году я снимал с разрешения властей фильм «Год спокойного солнца». Действие происходит в 1945 году, а среди персонажей фильма был заведомый негодяй, мерзавец, стукач. Я собирался взять на эту роль одного из тех, кого в нашей среде все ненавидели, настоящего мерзавца. Но все актеры сказали: «Нет, это недопустимо. Мы с ним играть не будем». Пришлось взять на роль негодяя самого порядочного человека, который с огромной фантазией создал образ своего антипода. Вот такая была в Польше атмосфера, предшествовавшая падению коммунистической системы.

Игорь КЛЯМКИН:

Очень интересная эта история с бойкотом интеллигенцией государственного телевидения. В России я такое представить себе не могу. Наши либеральные интеллектуалы, допускаемые на ТВ, готовы участвовать в любых телешоу, даже если им позволяют сказать там всего несколько слов и обрывают, едва они начинают говорить то, ради чего и пришли на передачу. И при этом могут честить российское телевидение самыми страшными словами, не забывая при случае информировать окружающих о том, что сами они его не смотрят. Тут, мне кажется, есть о чем задуматься.

Евгений ЯСИН:

А мне показались чрезвычайно важными рассуждения Кшиштофа о роли нравственности и ее влиянии на политику. Ведь в конечном счете судьба любых реформ, само развитие общества зависят от нравственного состояния этого общества. Именно исходя из этого мы некоторое время назад начали реализацию проекта под названием «Важнее, чем политика», ориентированного прежде всего на молодежь.

Важнее, чем политика, — это и есть в нашем представлении нравственность. Для нас является аксиомой, что перевороты в общественном сознании, сдвиги в системе ценностей всегда предшествуют политическим поворотам. И если значительная часть нашей молодежи солидаризируется сегодня с «суверенной демократией», то причину мы видим в ее этической глухоте, что никакими политическими лозунгами изменить нельзя.

Мы не можем сказать вслед за Кшиштофом, что в российском обществе, как и в польском, обстановка с точки зрения нравственности «вполне приемлемая». Но мы отдаем себе полный отчет и в том, сколь трудно противостоять аморальной атмосфере, которая насаждается в стране нашими политиками и нашими СМИ, почти полностью контролируемыми государством.

К сожалению, эту атмосферу властям помогают поддерживать и многие российские интеллектуалы, которые...

Игорь КЛЯМКИН:

...Которые не считают себя при этом безнравственными. Они руководствуются принципом «лжи во спасение», лжи во имя сохранения и упрочения государства...

Евгений ЯСИН:

Если так, то они обманывают других, предварительно обманув себя. Ложь, возведенная в принцип, не сохраняет государства, а подтачивает их устои, способствуя их разрушению. Мы это хорошо знаем по собственному историческому опыту. И потому так важно разобраться в том, почему в российской интеллигенции наблюдаются подобные тенденции. Она — точнее, ее часть — стала такой в последние годы или и раньше в ней было заложено нечто, что у многих ее представителей проявилось лишь сегодня?

Думаю, что приблизиться к ответу на этот вопрос нам поможет Лев Дмитриевич Гудков, который много пишет об отечественной интеллигенции, ее прошлом и нынешнем состоянии.

Лев ГУДКОВ (директор Аналитического центра Юрия Левады): «Играя заметную роль в разрушении коммунистической системы, советская интеллигенция не задавалась даже вопросом о том, что и как делать потом»

Многое из того, что я хотел сказать, Сергей Адамович Ковалев уже сказал. Я тоже полагаю, что крах советской системы меньше всего был связан с влиянием интеллектуалов, их критикой советской системы или какой-то их особой активностью в этом процессе. Нельзя сказать, что критического отношения к власти среди российских интеллигентов не было вообще. Оно имело место, но носило характер диффузного интеллигентского недовольства, редко поднимавшегося до ясного понимания природы советского тоталитаризма и его полного отрицания, а тем более до участия в оппозиционном политическом движении.

Неглубокий и никак не оформленный критицизм не оказывал скольконибудь существенного воздействия ни на общество, ни на власть. Советский режим развалился в силу скрыто идущего разложения или, если говорить социологическим языком, невозможности воспроизводства коммунистической системы. В чем это конкретно проявлялось? Во-первых, в отсутствии механизмов упорядоченной смены высшей власти. Во-вторых, в склеротизации каналов вертикальной мобильности, приведшей к застою. Эта склеротизация была вызвана послесталинским прекращением массового террора и запретом уголовного преследования представителей номенклатуры, что через два десятилетия привело к практически полной стагнации внутри бюрократической системы. А недопущение политического представительства интересов различных групп населения и узурпирование руководством КПСС права принятия решений обернулось устойчивым падением эффективности управления.

Попытки реформирования верхнего уровня руководства страны, предпри-

нятые Горбачевым, затронули монополию компартии на кадровые назначения, что в свою очередь почти мгновенно поставило под удар центральный принцип советской системы – принцип единства партии и государства. Или, точнее, партии и репрессивных структур. В результате вся система посыпалась. Интеллектуалы же к этому оказались не только не причастны, но даже и не готовы. И возникает естественный вопрос: почему?

Из-за ограниченности времени я не смогу углубиться в этот вопрос настолько, насколько он того заслуживает. Остановлюсь лишь на некоторых моментах.

Адам Михник уже упоминал о событиях 1968 года в Чехословакии и той роли, которую они сыграли в истории Польши. Но это очень важная точка и для российской интеллектуальной истории. Подавление «пражской весны» имело в Советском Союзе два последствия. Во-первых, в интеллектуальной среде окончательно и бесповоротно утвердилась идея о нереформируемости социализма. Это был конец социалистической идеологии, ее абсолютная и однозначная дискредитация. Во-вторых, признание нереформируемости системы повлекло за собой две прямо противоположные реакции.

С одной стороны, возникло умственное движение, причем довольно сильное, окрашенное диффузной этикой противостояния — системе, идеологии, власти, истеблишменту. Это был уход от политики, от общественной деятельности, от карьеры в «чистую» науку, религию, архаическую или, напротив, рафинированную философскую либо эстетскую культуру, в эзотерику. С другой стороны, мысль многих людей двигалась в совершенно ином направлении.

Если октябрьский переворот 1917 года, рассуждали они, это катастрофа русского народа, прервавшая его цивилизованное развитие, то надо начать с того исторического пункта, где тогда остановились. Так начались поиски альтернативной идеологии, которые быстро привели к пересмотру идейного багажа, к актуализации «почвеннического» наследия добольшевистского периода, к возрождению интереса к русскому национализму. Показательно, однако, что признание социализма мертвой доктриной сочеталось с непризнанием его полной идентичности с советской системой в целом. Ведь у последней было еще и другое измерение – имперское, или, мягче говоря, великодержавное. И оно-то если и не примиряло интеллектуалов данного типа с властью, то все же очерчивало между ними и нею некую общую зону.

Одним из вариантов этого или близким к нему течением стало очень значимое умонастроение, суть которого заключалась в установке на необходимость сохранения культуры. Долг интеллигенции перед будущими поколениями виделся при этом в том, чтобы сберечь высшие ценности и образцы великой русской культуры, собирать все то, что, как считалось, входит в нее, вплоть до того момента, когда коммунистическая система рухнет. Эта установка на сохранение и сбережение, на воспроизводство русской традиции была

чрезвычайно важной именно для интеллигенции – в первую очередь гуманитарной.

Однако такая установка при попытках ее реализации блокировала все возможности интеллектуального взаимодействия и диалога с мировой западной мыслью. Во-первых, с социальной наукой, которая и воплощала в себе значения и смыслы модернизационных процессов и перемен. Во-вторых, с гуманитаристикой, поскольку идея «хранения» требует сакрализации, сверхценного статуса того, что подлежит хранению, и не допускает рационализации отношения к самому процессу консервации и музеификации национального достояния. «Хранить» означало не прорабатывать и разрабатывать, а собирать и оппонировать – лживому официозу и чиновникам, рассматривавшим культуру только как ресурс для воспитания патриотизма и лояльности властям.

Этот этический акт несения огня духовности стал моментом самоидентификации, а чуть позже и консолидации интеллигенции. Этика противостояния была чрезвычайно важной составляющей легенды интеллигенции как слоя, утешительной сказки, рассказываемой ею себе самой. Здесь не должно быть никаких иллюзий: интеллигенция, если смотреть на ее реальную социальную роль, на ее статус, на тип ее организации, была частью государственной репродуктивной бюрократии. Никакой другой интеллигенции в Советском Союзе не было. Особый слой служивой государственной бюрократии, занимающийся просвещением, обоснованием и легитимацией власти, обеспечением ей массовой поддержки, цензурой, пропагандой, — вот что такое советская интеллигенция.

Два этих момента – профессиональная деятельность на государственной службе и «оппозиционная» самоидентификация – не противоречили друг другу, а друг друга дополняли, обеспечивая своеобразное представление интеллигенции о себе самой, завышенность ее самооценок, а также условия и возможность некоторого оппонирования власти в ее наиболее варварских и террористических проявлениях. Но именно такое двоемыслие блокировало выход к практическим действиям, развитие потребности в освоении западного опыта, западной науки с ее пафосом позитивного и ответственного знания, ценностей западной культуры. Возник специфически русский интеллигентский нарциссцизм, не предполагавший никакой общественной активности и избегавший ее.

Несколько иные варианты такой неформальной, неофициальной интеллигентской деятельности дали импульс к развитию сети самиздата, хотя само его возникновение следует отнести к более ранним временам, к началу 1960-х годов.

Мариэтта ЧУДАКОВА (литературовед, общественный деятель):

К 1957-му.

Лев ГУДКОВ:

Нет, в 1957 году возникло само слово «самиздат», но сравнительно массовое распространение текстов по сетям неформальных взаимосвязей началось примерно с 1962 года, после хрущевской кампании разоблачения Сталина. Именно к этому времени следует относить структурирование каналов самиздата. Он стал очень важным явлением и формой неформальной самоорганизации образованной части общества, т.е. той же самой гуманитарной бюрократии.

Неправильно представлять себе самиздат как тиражирование или распространение тех или иных чисто идеологических или политических текстов. Он включал в себя практически все, что цензурировалось в официальных изданиях, — от религиозной философии до порнолитературы или учебников по карате. В этом смысле самиздат был негативом по отношению к контролируемой информационной политике властей.

Если наши оценки правильны (а они сделаны довольно давно, в первой половине 1980-х, когда мы с моим другом и соавтором Борисом Дубиным еще занимались социологией литературы), то в начале эпохи самиздата пропускная мощность его каналов составляла несколько тысяч читателей, живших преимущественно в крупнейших городах. А к началу 1980-х годов, т.е. накануне перестройки, число включенных в эти сетевые структуры достигало нескольких миллионов. Естественно, основная часть населения туда не включалась. Но если оценивать число образованного сообщества Советского Союза примерно в двадцать миллионов человек, то самиздат к концу советской эпохи подпитывал примерно процентов десять-пятнадцать из них. Это больше разового тиража любого толстого журнала того времени — в том числе и перестроечного.

Однако самиздат мог не все. Что он не мог делать в принципе, по самой сути своей организации и способа функционирования? Ответ очевиден: в самиздате представлялись и циркулировали тексты, но не было и не могло быть их критики, анализа, обсуждения. Он обеспечивал знакомство с этими текстами – авторитетными и значимыми уже в силу самого факта их размножения под угрозой наказания. Но там не было интеллектуальной проработки проблематики, не было дискуссии. И это обстоятельство очень важно для понимания той роли, которую играли интеллектуалы в разрушении советской системы.

Обращение текстов в самиздате играло существенную роль в самоидентификации интеллектуального слоя, но не в смысле качества, глубины или практической ориентированности интеллектуальной работы, продумывания того, что делать дальше. Поэтому, когда система затрещала, все, что было накоплено самиздатом, попало на страницы журналов, в первую очередь толстых, которые за два-три года перекачали из него все, что было там накоплено за долгие годы. Однако никакой работы над текстами по-прежнему не было. Широкая публика ознакомилась с этим наследием и отложила в сторону.

Что же в итоге? В итоге критическая, разрушительная функция интеллектуалов оказалась выполненной. Советская система, частью которой была и которой оппонировала интеллигенция, в целом была оценена довольно негативно. Особенно острой критике подвергся сталинский период. Однако эта критика оказалась крайне поверхностной, не затрагивающей оснований системы, ее природу, источники, а главное — ее антропологию, т.е. причины того, почему советский режим довольно долго пользовался массовой поддержкой.

В значительной мере из-за ограниченности социологического понимания обстоятельств его возникновения и функционирования, отсутствия сравнительно-типологического анализа, общего горизонта рассмотрения советской системы вместе с нацизмом, фашизмом, маоизмом и прочими разновидностями тоталитаризма критика свелась в основном к личности Сталина. Он представал при этом маньяком, вождем-одиночкой, злодеем, виновным в гибели миллионов невинных людей. Некоторые, правда, добавляли: не только Сталин, но и все большевики просто бандиты, люди с уголовным менталитетом. И этим, мол, все сказано. Конечно, не вся литература была такой, но преобладало в ней именно это.

Почему советский режим функционировал так долго, почему поддерживался населением? Почему потом начал распадаться? Почему от него осталось так много в нашей жизни и после того, как его уже нет? Объяснений не было. Я бы сказал, что их нет, по существу, и до сих пор. Ни историки – я имею в виду наших авторитетных научных сотрудников академических институтов – не вышли на публику с соответствующими работами, ни социологи, которые, в общем и целом, тоже не затрагивали подобных вопросов. О политологах я и говорить не хочу.

На этом фоне изначально несколько выделялись экономисты, но не исследованиями природы советской системы, а установкой на преобразование плановой советской экономики в экономику рыночную. Они не были захвачены задачей «нести культуру» и «хранить традиции», в чем видело свою миссию большинство советской интеллигенции. В силу своих профессиональных занятий они были включены в структуры управления и несколько больше знакомы с практическими вещами, с управленческой техникой. Поэтому некоторые из них и оказались авторами реформ, инициаторами социально-экономических изменений. Не их вина в том, как они представляли себе социальную и политическую проблематику посттоталитарного транзита. Но их беда в том, что у них отсутствовало соответствующее социологическое или юридическое знание того, «как надо делать». Тем не менее они хотя бы пытались решать практические задачи. Другие же могли только разрушать советскую систему, не задаваясь даже вопросом о том, что и как делать потом.

Между тем критики такой системы неизбежно попадают в своего рода легитимационную ловушку. Дело в том, что критика предшествующего режима — это один из основных элементов или механизмов легитимации «преемника» при передаче власти в тоталитарных и авторитарных обществах. Такая смена в них — чрезвычайно болезненная и острая проблема, не решаемая в принципе в силу самой природы персоналистских режимов, не допускающих ни представительства групповых интересов (а значит, и политического плюрализма), ни формальных правил передачи власти (из-за опасений единоличного диктатора, что его могут свергнуть и заменить). Когда же смена власти все же происходит, она неизбежно сопровождается дискредитацией и обличением злоупотреблений и ошибок предшествующего правителя. Иного способа легитимации (точнее, псевдолегитимации) нового правителя или нового режима в таких случаях не существует.

Но подобная дискредитация и подобные обличения еще не меняют саму структуру системы. А отсюда следует, что одна лишь критика без выдвижения позитивной практической программы реализации реформ или социальных изменений ведет к восстановлению этой прежней структуры — в старой или обновленной форме. Так все и вращается в замкнутом кругу: один тиран разоблачается, а на его место усаживается другой, «хороший» диктатор.

Неготовность интеллектуалов к практической деятельности в ситуации начавшегося распада режима, вытекающая из особенностей их понимания своей «миссии» в тоталитарном социуме (ретрансляция культуры), закономерно обернулась восприимчивостью к идее «модернизации сверху», когда распад свершился. Сознавая свою недееспособность в этом плане, никаких других вариантов преобразований интеллигенция представить себе не могла. Но, передав ответственность за реализацию реформ тем, кто казался ей способным осуществить ее планы и надежды, она всеми силами старалась уверить и себя, и общество в том, что «иного не дано». Связав свою судьбу с поддержкой нового режима, она поставила на кон и будущее страны.

Можно спорить о том, насколько серьезной была альтернатива авторитарной модернизации. Бесспорно, однако, что у первых наших реформаторов никакой другой идеологии реформ, кроме идеологии экономического детерминизма, доминировавшей в советское время, не было. Была одна мысль: мы начнем экономические реформы, наладим хозяйственную жизнь, а все остальное как-нибудь приложится. Соответственно, очень многие важные вещи правового и институционального плана были лишь продекларированы, но не могли быть реализованы. Для этого не было ни опыта, ни понимания смысла происходящего, ни соответствующих знаний. Равно, повторю, как не было и сознания ответственности перед обществом и соучастия в его жизни.

Новый режим, использовав интеллигенцию в ситуации кризиса и разрушения,

заимствовав у нее ее критические лозунги, ее страсть в разоблачении прошлого, до власти ее не допустил. Интеллектуалы были при власти, украшали власть, но не принимали никакого участия в принятии политических решений. При этом механизмы их выработки оставлись такими же, как и в советское время. Поэтому довольно скоро, всего через несколько лет, новый режим оказался таким же закрытым, что и прежний. И он так же опирался не на общество, а на силовые структуры – прежде всего на армию и политическую полицию.

Поддержав новый авторитарный режим в надежде, что его лидеры будут проводить модернизацию страны и политику сближения с Европой, интеллектуалы (я имею в виду их либеральное крыло) стали заложниками этого режима. Особенно остро это почувствовалось во время президентских выборов 1996 года. Тогда режим едва-едва смог удержаться, используя политические технологии и психологическое принуждение избирателей к искусственному выбору: либо обеспечим поддержку Ельцина, либо нас ждет катастрофа и возвращение назад. И все это происходило при поддержке интеллигенции, которая не заметила, что возвращение назад, причем при ее непосредственном участии, уже произошло. Путин пришел потом на подготовленную почву.

В условиях спада экономики и массового обеднения наступившее разочарование в реформах и ожидание населением «спасителя» было более чем закономерным. Тем не менее приход гораздо более жесткого, чем Ельцин, и беспринципного «вождя», узурпировавшего власть, как оказалось, никем не предусматривался. Но этот приход стал естественным следствием того, что ни одна из сил, участвовавших в общественном движении за реформы, не смогла (и не собиралась) обеспечить рационализацию массовых интересов и нужд.

Нам сейчас очень важно понять связь идей авторитарной модернизации и экономического детерминизма с тем самопониманием интеллигенции, о котором я говорил. Такое самопонимание закрывает саму возможность учета интересов широких слоев населения и компромисса с ними. А раз так, то рано или поздно логика сотрудничества с властью приводит к отказу от демократических идеалов и к поддержке национал-популистского режима. А такой режим не может обойтись без возвращения традиционных символов — православия, «русской духовности», «героического прошлого», без нагнетания ностальгии по великой державе и прочим идеологическим представлениям, которые путинский режим использовал на полную мощность.

Сегодня мы имеем дело, конечно, не просто с тем состоянием общества, которое применительно к Западу или Израилю Анатолий Щаранский определял как «дефицит моральной ясности». Как здесь уже говорилось, мы имеем дело с состоянием аморализма, отказа от возможности даже поверить в важнейшие ценности демократии. Политического идеализма, о котором говорил Сергей Адамович Ковалев, сегодня нет, и его не будет как минимум еще

десять-пятнадцать лет. И именно поэтому мы находимся сегодня в худшей ситуации, чем два с лишним десятилетия назад.

Евгений ЯСИН:

Спасибо, Лев Дмитриевич. Не очень привлекательный образ интеллигенции вы нарисовали. Но хотелось бы все же хотя бы задним числом понять, что же именно она в конкретных обстоятельствах 1980-х годов могла и должна была делать, чтобы направить ход событий в иное русло. И альтернативу тому, что вы называете авторитарной модернизацией, я тоже хотел бы представить себе сколько-нибудь конкретно, однако у меня не получается.

Но допустим даже, что нарисованный портрет интеллигенции соответствует действительности. Допустим, что на ней, т.е. на нас с вами, лежит ответственность за поражение в России демократии. Какие все-таки должны мы извлечь из этого поражения уроки? И что делать сегодня? Я думаю, что очень интересное, хотя в чем-то и спорное сообщение Льва Дмитриевича подводит нас именно к таким вопросам.

Дорогие друзья, на этом разрешите завершить первый раунд нашего обсуждения, посвященный роли польской и российской интеллигенции в демонтаже коммунистических режимов в наших странах. Правда, обсуждения как такового еще не было. Мы откроем его после того, как выступят со своими сообщениями докладчики, которых мы просили проанализировать роль интеллигенции в посткоммунистический период.

Разговор об этом, как вы могли заметить, уже начался. По примеру Адама Михника, все ораторы так или иначе выходили и на современные проблемы, что, наверное, естественно: выступавшие не хотели ограничиваться рассмотрением прошлого, абстрагируясь от злободневных тем и проблем настоящего. Тем самым они создали задел для второй части обсуждения, что, по-моему, очень хорошо.

Вадим МЕЖУЕВ (главный научный сотрудник Института философии РАН):

Можно два слова вдогонку?

Евгений ЯСИН:

Ну, если только два слова...

Вадим МЕЖУЕВ:

Лев Гудков говорил, что природа большевизма и сталинизма нашими интеллектуалами до сих пор не понята. И это действительно так. Сталина у нас ставят в один ряд с Иваном Грозным и Петром І. Но это же совершенно неправильно! Сталина надо ставить в один ряд с Емельяном Пугачевым, а не с российскими монархами. Если бы Пугачев дошел до Петербурга, скинул Екатерину ІІ и под именем Петра ІІІ сел на трон, то мы бы и имели сталинизм XVIII века. А ставить сталинизм в преемственную связь с представителями российской монархии, уничтоженной большевиками, — это, мягко говоря, некорректно...

Игорь КЛЯМКИН:

Очень оригинальный, но сомнительный, по-моему, подход. Конечно, большевики пришли к власти, опираясь на народные низы, а потому отдавали должное Пугачеву и другим руководителям крестьянских восстаний. Но Сталин уже одним тем, что предписал снять фильмы не о Пугачеве, Разине или Болотникове, а об Иване Грозном и Петре I, четко обозначил основную линию исторической преемственности. Иван Васильевич ему был нужен как пример борца с княжеско-боярской элитой, а Петр Алексеевич — как инициатор принудительного военно-технологического прорыва.

Большевизм, обрушивший прежнее государство, нуждался для своей легитимации в политической традиции этого государства и ее самодержавных персонификаторах, а не в тех, кто против него восставал. К тому же никакого «сталинизма» Пугачев, победи он, в XVIII веке установить не смог бы. И не только потому, что сталинизм не может утвердиться без телефона, телеграфа, железных дорог и прочих атрибутов индустриальной цивилизации. Он не мог утвердиться во времена Пугачева еще и потому, что для него не было тогда исторической функции.

Евгений ЯСИН:

Господа, вы начали дискуссию явочным порядком. Потерпите, пожалуйста. Давайте все-таки прервемся на обед, а потом продолжим. Еще раз напоминаю, что мы будем говорить о роли польских и российских интеллектуалов в посткоммунистический период. На этом я слагаю с себя полномочия модератора и передаю их Игорю Моисеевичу Клямкину.

Интеллектуалы после коммунизма

Игорь КЛЯМКИН:

«Мне кажется, что либерально-демократическое сознание российской интеллигенции все еще спотыкается об ее имперское и авторитарное подсознание»

Итак, мы переходим ко второй составляющей нашей темы, ради обсуждения которой и была прежде всего инициирована эта встреча. Я имею в виду современное состояние либерально-демократической интеллигенции, ее возможности влияния на общество, ее сильные и слабые стороны. Тот разговор о прошлом наших стран, который здесь состоялся, показался мне очень интересным. Однако до сих пор так и не прозвучало, по-моему, ответа на вопрос: почему же то, что в Польше получилось, в России не удалось? И можно ли эту нашу неудачу хотя бы частично списывать на российскую интеллигенцию?

Из зала:

Не получилось, потому что в России мало поляков.

Игорь КЛЯМКИН:

Не уверен, что их будет становиться больше. Поэтому ничего не остается, как рассчитывать на себя. А это предполагает и выяснение причин неблагоприятного развития событий.

Я вспоминаю осень 1991 года, первые месяцы после провала выступления ГКЧП и падения коммунизма в СССР. Еще до его окончательного развала становилось ясно, что ставка делается на реформирование экономики при сохранении институтов власти, сформировавшихся в Российской Федерации еще тогда, когда самостоятельным государством она не была. Но это и стало, по-моему, главной причиной того, что современная демократия в России не состоялась.

Польские интеллектуалы в 1989 году шли на Круглый стол власти и оппозиции с идеей преобразования государства. В России же частичное обновление политического класса, происшедшее после относительно свободных выборов 1990 года, сопровождалось ее вычленением из СССР, но не сопровождалось учреждением нового типа государства, основанного на демократических принципах. Этого не произошло и после того, как Советский Союз перестал существовать. Ни посредством созыва Учредительного собрания, ни путем свободных выборов с последующим принятием избранным парламентом новой конституции.

Так что можно сказать, что Россия, сохранив старые институты, сразу же двинулась по «особому пути», который и увел ее от демократии. Правомерно ли утверждать, что демократическая интеллигенция несет за это ответственность? Никто не знает, конечно, могла ли она тогда существенно повлиять на развитие событий. Все дело, однако, в том, что каких-либо заметных публичных попыток поставить вопрос об учреждении государства первым пунктом политической повестки дня с ее стороны тогда не наблюдалось.

Узнать, «что было бы, если бы», уже никому никогда не удастся. И потому я хотел бы, чтобы мы сейчас сосредоточились не на том, что было в 1990-е годы, а на том, что есть сейчас. Давайте обсудим, как российская либеральная и демократическая интеллигенция реагирует на то, что сегодня происходит в стране и со страной. У меня создается впечатление, что в большинстве своем она вольно или невольно, прямо или косвенно, публично или отмалчиваясь там, где отмалчиваться нельзя, солидаризируется с авторитарной властью.

Об этом можно судить, например, видя предрасположенность многих интеллектуалов к восприятию разнообразных концепций, согласно которым есть некоторая культурная предопределенность существования и развития России. Предопределенность, которая и обрекает ее на авторитарное правление. И речь идет не просто об объяснении прошлого и настоящего. Речь идет о том, что только так может быть и в дальнейшем. Понятно, что в этой логике демократическая перспектива выглядит заведомо утопической. Так происходит культурологическое примирение с действительностью, которому очень часто сопутствует примирение поведенческое. Об этом много говорит и пишет в последнее время Эмиль Паин, и он, насколько знаю, свои соображения на сей счет намерен представить и сегодня с учетом темы нашего обсуждения.

Но лучшим тестом на либеральность и демократичность сознания и поведения является все же отношение к некоторым принципиальным политическим вопросам, в максимальной степени проявляющее мировоззренческие установки. Вот, скажем, вопрос о новом расширении НАТО. Большинство либеральных экспертов и журналистов в данном отношении либо примыкают к позиции властей (расширение НАТО – угроза для России), либо отмалчиваются. Почему, интересно?

Ведь расширение евро-атлантического альянса означает расширение мирового либерально-демократического пространства. Ведь любой грамотный эксперт знает, что никакой военной угрозы это для России не представляет. Да, есть цивилизационная угроза, так как с нынешним российским государственным устройством либеральная демократия несовместима, а потому вступление в НАТО, например, Украины представляет для этого устройства стратегическую опасность. Но почему опасное для авторитарной власти выглядит таковым и в глазах интеллектуалов, продолжающих считать себя либералами и демократами?

Я уже не говорю о том, что двусмысленная позиция по этому вопросу означает открытое или молчаливое потакание той лжи, которой щедро окармливаются наши соотечественники со всех телеканалов относительно военных угроз со стороны Запада. На наших глазах происходит искусственная милитаризация массового сознания, призванная дополнительно легитимировать авторитарно-бюрократическую властную систему. Мне кажется, здесь есть о чем подумать и поговорить.

Или вспомним позицию почти всей нашей либеральной интеллигенции по поводу оценки Украиной Голодомора 1930-х годов. Казалось бы, правовая квалификация этого преступления сталинского режима нашими соседями должна была подтолкнуть российских либералов к тому, чтобы требовать того же и в России. Ведь пока преступление не квалифицировано юридически именно как преступление, никаких преград для объявления Сталина «эффективным менеджером», чем все либералы дружно возмущаются, не существует. Так нет же, почин украинцев встретил у них отторжение, а кое у кого и нескрываемое раздражение. Но так как рационально обосновать его невозможно, придумываются небылицы относительно того, что Киев предъявляет исторический и политический счет за Голодомор современной России.

Что все это означает? Это означает, что в России нет не только сколько-нибудь влиятельных либерально-демократических политических сил, но и последовательной либерально-демократической политической мысли. Она спотыкается об имперское подсознание и перестает быть либерально-демократической. Есть, по-моему, смысл поговорить и о том, как это выглядит с точки зрения нравственности¹.

Исключения, конечно, тоже существуют, и я надеюсь, что мы в этом сегодня лишний раз сможем убедиться. Знаю, например, что по вопросам, о которых я говорю, собирается выступать Глеб Мусихин. Но вам также хорошо известно, в каком отношении находятся между собой исключения из правил и сами правила.

Давайте обсудим и нашумевшую историю с образованием партии «Правое дело». В данном случае, правда, большинство либеральных интеллектуалов создание такой партии, инициированное Кремлем, осудило. Но есть и те, кто его публично поддержал, и среди них присутствующая здесь Мариэтта Омаровна Чудакова. Да и в руководстве партии мы видим в основном выходцев из интеллигентской гуманитарной среды. И потому возникает естественный вопрос о сотрудничестве либеральной интеллигенции с авторитарной властью и его условиях, о чем уже говорил Евгений Григорьевич Ясин в своем вступительном слове.

В конце февраля 2009 года Политкомитет партии «Яблоко» принял документ, в котором содержится призыв «дать на государственном уровне ясную и недвусмысленную правовую, политическую и нравственную оценку» всему советскому периоду и совершенным на всем его протяжении гоударственным преступлениям. Значит, украинский прецедент все-таки начинает сказываться и на поведении части российских либералов, хотя признаться в этом и публично поддержать этот прецедент они себе позволить не решились.

Дело ведь не только в самом факте такого сотрудничества, но и в том, что его условия остаются для общества тайной. А это уже не что иное, как закулисная игра по «правилам», органичным лишь для авторитарно-бюрократической политической культуры. Что же означает согласие играть по ним либеральной партии? Думаю, что об этом тоже полезно подискутировать. Пока же мне кажется, что помимо имперского подсознания в России существует и подсознание авторитарное, корректирующее и действия людей, сознание которых авторитаризма не приемлет.

Что касается польских коллег, то от них было бы очень интересно услышать, в каком состоянии находится сегодня польское гражданское общество и какое влияние на его развитие могут оказывать и оказывают польские интеллектуалы. Насколько я осведомлен, во всех посткоммунистических странах, где утвердились демократические политические системы, оно развивается крайне медленно. Польша — не исключение. И это притом, что в ней, как показала и история «Солидарности», есть в отличие от России богатый опыт общественной самоорганизации населения. Нам важно понять, что именно блокирует у вас становление сильного и влиятельного гражданского общества. Возможно также, что ваш опыт поможет нам скорректировать доминирующее в России мнение о том, что из-за слабости гражданского общества у нас нет и не может быть демократической политической системы. В Польше оно тоже пока слабое, а такая система там тем не менее утвердилась.

Вот некоторые вопросы, которые, как мне кажется, полезно обсудить. Если будут предложены какие-то другие, очень хорошо. Первым выступит Эдмунд Внук-Липинский — замечательный социолог и политолог, известный не только в Польше, но и за ее пределами.

Эдмунд ВНУК-ЛИПИНСКИЙ (профессор, ректор Высшей школы коллегии «Умсовитус» в Варшаве):

«В демократической Польше интеллектуалы не могли уже играть ту роль, которую они играли в Польше коммунистической»

Я хочу начать с того, что произошло в 1989 году на Круглом столе власти и оппозиции, в котором мне тоже довелось участвовать. О том, что я хочу сказать, Адам Михник не говорил, а мне это кажется существенным.

Тогда изменение системы в результате Круглого стола произошло так быстро и неожиданно, как никто не мог себе представить – ни представители коммунистической элиты, ни лидеры «Солидарности». Мы определяли тогда свой возможный успех очень скромным образом, а именно как легализацию «Солидарности» и учреждение более либеральных порядков публичной жизни. Мы рассчитывали на то, что если примерно четыре года в парламенте

будет оппозиция от «Солидарности», то за это время мы научимся управлять. А через четыре года, полагали мы, будут, может быть, свободные выборы, и тогда мы сможем, возможно, выиграть, будучи уже готовыми к роли политических руководителей Польши. Но то, что случилось в результате заседания Круглого стола, вышло далеко за горизонт воображения всех участников тех переговоров. Даже, наверное, и Адама Михника, чей горизонт воображения очень широк.

Не стану углубляться в то, почему так случилось. Во всяком случае, роль интеллектуалов в этом событии была, по моему убеждению, довольно ограниченной. Важно то, что лидеры «Солидарности» выиграли выборы и стали властью, к обладанию которой не готовились. Существенно и то, что «Солидарность» – многомиллионное массовое движение, возникшее на основе низовой самоорганизации после первого приезда в Польшу Папы Римского в 1979 году, быстро распалась. Движение консолидировалось наличием общего врага, с исчезновением которого исчезла и опора консолидации. Это, конечно, не единственная причина распада, но наверняка и не второстепенная.

Какова же была роль польских интеллектуалов после того, как «Солидарность» победила на выборах? Можно сказать, что они придали начавшимся тогда политическим процессам некоторое нормативное измерение, но не больше того. Реальная же политика началась в 1990 году, когда Лешек Бальцерович приступил к осуществлению радикальных изменений в экономике. Потому что ее реформирование, переформатирование ее субъектов было главной проблемой Польши в то время. Именно реформы Бальцеровича и изменили, собственно, всю нашу жизнь.

Однако эти реформы, вызвавшие отрицательную реакцию значительных слоев населения, тоже сыграли свою роль в распаде «Солидарности». Кроме того, они ориентировали людей на их частные интересы, что отнюдь не способствовало превращению этих людей в граждан, не способствовало формированию гражданского общества. А демократия без гражданского общества — это как дом без фундамента. Такой дом можно построить, но устойчивым и прочным он не будет. Мы, интеллектуалы, конечно же отдавали себе в этом отчет. И многие из нас шли в политику, чтобы формированию гражданского общества способствовать. Но из этого почти ничего не получилось и получиться не могло. Вхождение интеллектуалов в политику было изначально двусмысленным, так как было вхождением в совершенно иную сферу деятельности.

Деятельность интеллектуала и деятельность политика имеют разные логики. Если интеллектуал является, скажем, ученым, то для него главным мотивом и стимулом является желание дойти до истины, понять природу тех или иных явлений и процессов. Интеллектуал, конечно, имеет право высказываться

публично по общественным проблемам, даже если они выходят за рамки его профессиональной компетенции. Особенно в области нравственности. Но занятие политикой – это совсем другое.

Главная дилемма, перед которой оказалась часть интеллектуалов, участвовавших в движении «Солидарность» – и Адам Михник живой этому пример, – как раз и заключалась в том, вовлекаться ли в политику или по-прежнему оставаться вне нее. Потому что вхождение в политику имеет свою цену.

Интеллектуал, который такое вхождение осуществляет, неизбежно должен отказываться от свободы мышления, потому что не может повредить своей политической организации. Он должен сохранить определенный минимум партийной лояльности. И тем самым сужать перспективу познания, потому что он вынужден преувеличивать значение того, что совпадает с его политическими целями, и маргинализировать те элементы действительности, которые этим целям противоречат. В результате – неизбежное искажение видения реальности. А это значит, что ученый, художник или артист, который входит в политику, перестает быть интеллектуалом. Он становится технологом власти.

Политик же, который не хочет обладать властью, это не политик. Он должен желать власти, потому что иначе он не может осуществить свои цели. Те политики, которые говорят: «Мне не нужна власть», просто не понимают природы того, чем занимаются, как и того, ради чего они это делают.

К сказанному можно добавить, что интеллектуал, который поставляет свои знания политику независимо от того, какие цели тот преследует, является или циником, или партийным интеллектуалом. В том и другом случае это его, как интеллектуала, дисквалифицирует. Наконец, возможен вариант, когда интеллектуал изолируется от публичной жизни, и тогда он становится клерком. Но во времена великих перемен быть клерком могут позволить себе лишь люди, совершенно нечувствительные к общественным вопросам.

А теперь, прояснив различия между интеллектуалом и политиком, я хочу вернуться к разговору о гражданском обществе, которое является фундаментом демократии. В состоянии ли интеллектуалы способствовать его развитию? В коммунистический период они этому способствовали, о чем Адам Михник уже говорил. Но в тот период речь шла об особом явлении, которое я называю этическим гражданским обществом. В теории демократии такое понятие почти не употребляется, но оно, как мне кажется, очень точно характеризует мой собственный опыт и опыт моего поколения.

Диссиденты в коммунистической Польше, как и в Советском Союзе, о чем говорил Сергей Ковалев, становились диссидентами не потому, что они стремились к власти. Адам сидит рядом и, как бывший диссидент, может меня поправить, если я ошибаюсь. Тогда быть диссидентом означало прежде всего нравственную оппозицию по отношению к коммунистической системе. Это

означало моральную установку на гражданственность в условиях отсутствия гражданских прав. Это означало отказ принимать принципы репрессивного режима, как режима циничного, основанного на тотальной лжи. Такое диссидентское движение возникло во всех странах Восточной Европы и в Советском Союзе. Это и есть то явление, которое я называю этическим гражданским обществом.

Но такое явление не может быть исторически долговременным. Ибо или система репрессивно его уничтожает, видя в нем смертельную опасность для своего существования, или проигрывает и сходит со сцены. А если проигрывает, то этическое гражданское общество, противостоявшее прежней системе, свою миссию исчерпывает. Начинается игра интересов, начинается настоящая политика. И в этой новой ситуации те диссиденты, которые вошли в политику, став депутатами первого нашего свободно избранного парламента, быстро запутались, как кролик в машине. Они поняли, что настоящая политика это не продолжение этического гражданского общества, а игра интересов и успешностей. Но они пытались совмещать одно с другим, что не получилось и получиться не могло.

Однако в демократической системе нельзя реализовывать интересы без поддержки граждан. А для этого должны быть граждане. Если их нет, то мы имеем дело с клиентами, которых можно покупать. Так и происходит в олигархических системах, где авторитарные руководители пользуются поддержкой масс, которую они купили, освободив людей от ответственности за их собственные действия. Польше удалось избежать авторитарного перерождения демократии, но мы могли наблюдать, сколь тяжким оказывается для многих это бремя ответственности.

Для значительного числа поляков, когда рухнул коммунизм, было огромной неожиданностью, что свобода означает неуверенность в будущем и риск. Но ведь если мы действительно имеем свободный выбор, как личности, то мы можем и ошибиться в выборе. А если мы ошибаемся, то мы переживаем поражение. Это вроде бы очевидно, но для многих в Польше это было шокирующим открытием. Было чем-то таким, что очень трудно перенести.

Конечно, в мировой истории это никакая не новость. Аналогичный шок пережили многие европейские народы в межвоенный период, когда огромные массы людей, говоря словами Эриха Фрома, бежали от свободы под крылья разных авторитарных вождей. Волна фашизма, которая прокатилась по Европе и столкнулась с коммунизмом, — это ведь тоже не обошлось без участия и поддержки обыкновенных людей. В Веймарской республике самые радикальные партии, т.е. нацистская и коммунистическая, отличались, как показывают исследования, самой большой текучестью электората. Значит, людям, которые отдавали свои голоса коммунистам или нацистам, было все равно, за кого голосовать. Они голосовали за радикальную политическую альтернативу

свободе и демократии, которая снимет с них бремя ответственности за собственную жизнь.

В посткоммунистической Польше демократия устояла, но кто-то из вас помнит, возможно, наши первые президентские выборы, когда вдруг четверть избирателей обнаружила готовность отдать государственную власть человеку ниоткуда. Не буду называть его фамилию – не стоит его упоминать. Этот человек за шесть недель стал в глазах многих привлекательной альтернативой и посткоммунистам, и лидерам «Солидарности». Первых отвергли, потому что сохранялась еще радость по поводу их недавнего политического падения. А вот от лидеров «Солидарности» многие их бывшие сторонники отвернулись именно потому, что открыли для себя, что свобода может сопровождаться поражениями. Между тем с готовности с этим считаться и это принимать только и начинается взрослая жизнь. Если мы хотим быть автономными личностями с правом свободного выбора, то мы должны нести ответственность за последствия такого выбора. Но, повторяю, многие в Польше были к этому не готовы.

Изменилось ли что-то с тех пор? Недавно мы провели исследование того, как люди понимают состояние гражданства в демократической системе и какой видят свою роль в ней. Мы пользовались классическим разделением гражданства на три сегмента: собственно гражданское, политическое и социальное. Гражданское – это свободная личность; политическое предполагает, что она может иметь политическое представительство и участие во власти; социальное – это обеспечение какого-то минимума благосостояния для всех. Исследование показало, что самым существенным для поляков является сегмент гражданский в сочетании с политическим, т.е. индивидуальная свобода в сочетании с правом прямо или опосредованно (через политическое представительство) участия во власти. Вместе с тем почти 40% нашего населения полагает, что демократическое государство не имеет права отказываться от тех функций, которые унаследовало от коммунистической системы, т.е. от опеки над людьми. Отсюда и наш вывод: польское общество является обществом гражданским, в значительной степени сохраняющим при этом ориентацию на патерналистское, опекунское государство.

Какова же в таких условиях роль интеллектуалов? Что они могут сделать для развития гражданского общества?

Прежде всего, они призваны определять, что в политике можно и что нельзя. Они должны формулировать ее цели и нормативные основы их реального осуществления. Можно сказать, что они отвечают за состояние политической культуры в стране, потому что именно интеллектуалы определяют формат и способ ведения публичного диспута. Если они подлаживаются к низкому уровню этой культуры или на сей счет отмалчиваются, то они свою общественную функцию не выполняют.

Влиять на политическую культуру — значит влиять на формирование демократических, республиканских добродетелей. Таких, как доверие, толерантность, ответственность за других. Особенно важно сегодня для нас доверие, потому что при его дефиците (а Польша, как показывают исследования, сейчас переживает кризис общественного доверия и по вертикали, и по горизонтали) создаются некие приманки для политических лидеров, которые хотели бы расплывчатые авторитарно-патерналистские установки цементировать, соединить в один вектор. Но я надеюсь все же, что до этого в Польше дело не дойдет.

Игорь КЛЯМКИН:

Благодарю господина Внук-Липинского за содержательное сообщение. Обращаю внимание аудитории на введенный им термин «этическое гражданское общество». Мы, как и поляки, тоже пережили в свое время состояние, этим термином передаваемое. И у нас, как и в Польше, это состояние уже в прошлом. Но в Польше «этическое гражданское общество» оставило после себя демократическую политическую систему, а в России — обновленную версию системы авторитарной. И потому для нас «этическое гражданское общество» — это, возможно, не только прошлое, но и будущее.

Разумеется, о простом повторении польского опыта 1980-х годов речи быть не может. За прошедшее с тех пор время в России тоже возникла «игра интересов». И хотя гражданское общество, образуемое на основе консолидации этих интересов, у нас еще слабее, чем польское, аналог «этического гражданского общества» 1980-х уже невозможен. В условиях, когда существуют рыночные отношения и частная собственность, моральный протест не может даже временно осуществляться поверх конкретных экономических интересов. Не говоря уже о том, что широкую консолидацию такого протеста трудно представить себе при том дефиците доверия, намного более остром, чем в Польше, который наблюдается сегодня в российском обществе.

И еще я обратил внимание на то, как скромно господин Внук-Липинский оценил роль интеллектуалов в политических преобразованиях, начавшихся в Польше после победы «Солидарности» на парламентских выборах 1989 года. Я обратил на это внимание именно потому, что пример польских интеллектуалов сегодня очень часто используется — повторю то, о чем уже упоминал во вступительном слове, — для критики интеллектуалов российских: в отличие от них поляки, мол, заранее составляли конструктивные программы политических и экономических преобразований, чтобы обвал коммунистической системы не застал их врасплох. Да, такие программы у польских интеллектуалов были, что сыграло свою роль после падения коммунистического режима. Но оказывается, что и они не были готовы к тому, что власть окажется в руках антикоммуни-

стической оппозиции. Равно как и к тому, что сама оппозиция эта, став властью, тут же расколется, а демократическая интеллигенция, пришедшая в политику, станет там инородным телом.

Наверное, демократия в Польше в отличие от России состоялась все же не только потому, что польские интеллектуалы были иными, чем российские. Это если и причина, то отнюдь не единственная, а быть может, и не главная, что желательно иметь в виду, размышляя о сегодняшнем состоянии интеллектуальной элиты и ее возможностях в наших странах.

Обсуждение этого состояния и этих возможностей продолжит Глеб Мусихин.

Глеб МУСИХИН (профессор Государственного университета – Высшей школы экономики):

«Наша страна в целом опускается в третий мир, а ее интеллектуальная элита продолжает позиционировать себя как принадлежащую к странам "золотого миллиарда"»

Эдмунд Внук-Липинский очень четко и очень понятно обозначил приоритеты, которыми должно руководствоваться интеллектуальное сообщество, но они относятся лишь к той реальности, которую можно определить как общество «золотого миллиарда». Только в странах, к нему принадлежащих, интеллектуальное сообщество способно к самовоспроизводству как источник ценностей и смыслов гражданского общества. В других же странах положение несколько иное: это касается и самосознания экспертного сообщества, и его политического позиционирования.

На мой взгляд, проблема России именно в том, что в предыдущий исторический период ее существования в ней была создана достаточно мощная интеллектуальная элита. Можно спорить о том, какой именно она была, можно задним числом выражать недовольство ею, но она существовала. Советский Союз в интеллектуальном отношении был достаточно развитым обществом. Этот факт отрицать бессмысленно, хотя опять же можно дискутировать о том, каков был качественный состав этого общества в целом.

Но на известном всем этапе — в начале 1990 годов — в развитии страны произошел достаточно резкий перелом. И по большинству показателей она опустилась ниже того уровня, на котором интеллектуальная элита оказывается востребована и ценима. Иными словами, сегодня у нас имеется интеллектуальное сообщество, доставшееся нам от предыдущего этапа исторического развития, а подобающий уровень развития страны для такого интеллектуального сообщества отсутствует. В результате же это сообщество сталкивается с проблемой собственного самовоспроизводства в ситуации своего драматического несоответствия окружающей социально-экономической действительности.

На мой взгляд, российские интеллектуалы оказались в положении интеллектуальной элиты стран третьего мира, где очень остро стоит вопрос о востребованности самой такой элиты. В развитом мире — том, что я определил как страны «золотого миллиарда», — она формирует повестку дня для всего общества. Ну, если и не повестку дня, то какие-то ее стержневые моменты, т.е. она бросает в воду те смысловые «камни», от которых потом начинают расходиться «круги». Последние необязательно адекватно воспроизводят изначально брошенные «камни», но тем не менее интеллектуальная элита дает определенный импульс для развития общественных умонастроений.

Иными словами, в западных либерально-демократических странах сформировалось то, что в свое время Йозеф Шумпетер назвал «демократией экспертов». Именно экспертное сообщество в широком смысле этого слова (имеются в виду не только ученые и интеллектуалы, но и журналисты, а также наиболее продвинутая часть политического класса) задает для демократии коридор целей и смыслов, внутри которого данное государство и данное гражданское общество обсуждают свои реальные перспективы. Представления о них могут расходиться, могут сталкиваться, но определенный коридор этих перспектив задается именно интеллектуальным сообществом.

Российская же интеллектуальная элита, будучи не соответствующей социально-экономической реальности, которая на данный момент в России сложилась, именно поэтому не способна не то что задать этот коридор возможностей, но даже участвовать в его формировании. Не способна именно потому, что она сложнее этой реальности. Не лучше и не хуже, а сложнее. Потому что она сформировалась как более сложная. И сейчас ей, чтобы участвовать в решении конкретных вопросов, стоящих перед страной, предлагается стать более адекватной, более прикладной, а по большому счету – более примитивной. То есть в обмен на возможность участия в решении каких-то государственных задач российской интеллектуальной элите предлагается упроститься. А в нынешнем своем состоянии она просто не может быть востребована.

Проблема заключается не столько даже в отношении к этой элите, сколько в ее самосознании, понимании ею своего положения. Потому что она – в силу совершенно естественного инстинкта самосохранения – не готова, думаю, признать свою принципиальную невостребованность как свершившийся факт. Это действительно обидное, болезненное состояние, которое на сегодняшний день имеет место быть в нашей стране.

Естественно, у меня нет никакого морального права интеллектуальную элиту осуждать – хотя бы потому, что льщу себя надеждой, что в каком-то смысле и сам к ней принадлежу. Но если она не сможет сделать хотя бы этот первый шаг и не осознает свое положение, то, на мой взгляд, она не сможет

начать и реальное осмысление проблем, которые перед Россией стоят, и всерьез обсуждать, куда же нашей стране реально двигаться. И тогда будут сохраняться все эти многочисленные недоговоренности, двусмысленности и неясности, которыми переполнены наши публицистические и аналитические тексты. Да, в них порой представлен детальный и даже изощренный анализ сложившейся ситуации, но в них нет не только однозначных ответов на какие-то вопросы, но и постановки однозначно понимаемых самих вопросов и проблем. А нет ее в том числе и потому, что, если все проблемы будут четко поставлены и осмыслены в своей сути, интеллектуальное сообщество опять же неизбежно должно будет сделать вывод о своей неадекватности (и, соответственно, ненужности) в сложившейся российской реальности.

Итак, общая диспозиция примерно такова, что наша страна в целом опускается в третий мир, а ее интеллектуальная экспертная элита продолжает позиционировать себя как принадлежащую к странам «золотого миллиарда». Притом что установки российской политической элиты далеко не тождественны установке этой самой экспертной элиты. Потому что для последней принадлежность российского общества к «золотому миллиарду» (действительная или потенциальная) – вопрос принципиальный: ведь если Россия к этому «золотому миллиарду» не принадлежит хотя бы потенциально, то интеллектуальная элита повисает в воздухе. Между тем для политической элиты принадлежность к «золотому миллиарду» или к странам третьего мира – вопрос не принципиальный, а второстепенный.

Главное для нее – контроль над Россией и российским обществом. А каким оно будет – развитым, либерально-демократическим или обществом третьего мира, для политической элиты, повторяю, не столь существенно, как для интеллектуальной. И в этой ситуации экспертное сообщество, на мой взгляд, само подрывает основу своего существования, потому что пытается выполнять две несовместимые, взаимоисключающие функции: поддерживать свое невостребованное экспертное качество и одновременно обслуживать политический класс.

Обслуживая властное сообщество, интеллектуалы не в состоянии продиктовать ему собственную повестку дня. Они вынуждены довольствоваться положением экспертной обслуги, не более того. Не будучи же способными продиктовать собственную повестку дня, интеллектуалы вынуждены принимать ту повестку, которую задает власть. И в которой им, как сложной социальной целостности, нет места. Ни сейчас, ни тем более в будущем. И это можно было бы считать фарсом, если бы это не было настоящей драмой.

Неспособность нашей интеллектуальной элиты выработать собственную повестку дня рельефно проявилась в последнее время в ходе обсуждения таких вопросов (о них здесь уже упоминалось), как возможное новое расширение НАТО и оценка Украиной Голодомора 1930-х годов.

В отношении к НАТО российское интеллектуальное сообщество, даже та его часть, которая считает себя либеральной и демократической, послушно выстроилась вокруг темы, заданной из Кремля: «Является ли НАТО угрозой для России или таковой не является?» Но обсуждать подобные вопросы – это и значит следовать чужой повестке дня. Лучше было бы, если бы наши интеллектуалы спросили и власть, и общество: «А почему Россия, как неотъемлемая часть европейской цивилизации, до сих пор не член НАТО?» Вот в чем проблема, а не в том, представляет ли евро-атлантический альянс опасность для нашей страны – тем более если речь идет не о военной, а о цивилизационной опасности. Ответом на бессодержательный вопрос о том, является ли расширение НАТО цивилизационной угрозой для России, может быть лишь перевод самого вопроса в иную плоскость: «А на каком основании мировоззренческие стереотипы администрации президента объявляются сущностью российской цивилизации?»

В отношении украинской оценки Голодомора ситуация еще более интересная. Прогрессивная российская интеллигенция с энтузиазмом бросилась обсуждать тему: «Был ли Голодомор на Украине локальным явлением или он относился ко всем территориям Советского Союза того времени?» И я не слышал, чтобы кто-то спросил: почему тема Голодомора служит на Украине формированию национальной памяти и национального самосознания, а у нас об этой теме вспомнили только после того, как она актуализирована другими? Да и то лишь для того, чтобы этих других дружно осудить? Где наше интеллектуальное сообщество, которое задает определенные рамки для общественной дискуссии?

Ведь мало кто озабочен даже вопросом о том, как вообще Сталин, главный конструктор Голодомора, мог попасть в число главных героев нашего времени. Напомню хотя бы о проекте «Имя Россия» на российском телевидении. Среди наиболее выдающихся отечественных деятелей культуры, политики, науки предлагалось выбрать того, кто на сегодняшний день может быть ассоциирован с Россией в целом. И одно из таких имен — Сталин. Как человек, виновный в преступлениях против человечности, может в принципе попасть в этот список, да еще и обсуждаться на государственном канале?

Можно сколько угодно сетовать на то, что у нас нет гражданского общества. Но если у нас есть интеллектуальное сообщество, то хотя бы оно могло предложить определенные рамки для формирования самосознания и саморазвития этого гражданского общества. Но таких предложений от него не поступает. Оно ждет, когда очередная тема будет инициирована администрацией президента, чтобы начать ее обсуждать. С положительным или отрицательным знаком – это уже непринципиально. Принципиально то, что интеллектуальное сообщество само ничего не предлагает. Оно ждет инициативы властных институтов.

Если так будет продолжаться, то существование интеллектуального сообщества в России – в том виде, в каком оно еще существует, – неизбежно закончится его самоликвидацией. Чтобы этого избежать, для начала было бы неплохо хотя бы понять, сколь опасен путь, по которому при нашем участии движется страна. И избавиться от иллюзии, что вот, мол, если мы получим доступ на каналы телевидения, то все изменим. Чтобы что-то изменять, для начала желательно хотя бы адекватно осознать собственное нынешнее положение.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Глеб Иванович. Вы предложили интересную постановку вопроса — и в общем плане, и в приложении к конкретным политическим сюжетам. Но один момент я не совсем понял. У вас получается, что при советской власти сформировалась «сложная» интеллектуальная элита, которая для постсоветской реальности слишком сложна. Но отсюда вроде бы должно следовать, что реальности советской эта элита вполне соответствовала, а потому и была в ней востребована. Но в чем именно советская реальность была «сложнее» нынешней, остается неясным.

Я могу согласиться с тем, что российская интеллектуальная элита, по крайней мере ее либеральное крыло, собственную повестку дня обществу сегодня не предлагает, выполняя, как правило, функции обслуживания власти. Но ведь и в советское время, насколько помню, она такой повестки не предлагала...

Глеб МУСИХИН:

Она решала другие задачи. Сейчас же контекст изменился, а интеллектуальная элита не меняется.

Игорь КЛЯМКИН:

Она слишком «сложная», но ей тем не менее предстоит меняться. В направлении еще большей «сложности»? В каком-то еще? Я пытаюсь сопоставить сказанное вами с тем, что говорил о советской интеллигенции Лев Дмитриевич Гудков (а он говорил нечто прямо противоположное), и одно с другим совместить не могу. Поэтому я акцентирую внимание присутствующих на вашем тезисе о неспособности нашей интеллектуальной элиты формировать собственную повестку дня, альтернативную официальной, а вопрос о степени «сложности» этой элиты предлагаю оставить для будущих дискуссий.

А теперь я предоставляю слово господину Ежи Помяновскому. Это очень известный в Польше знаток России, о чем Адам Михник уже сказал. В свое время

Ежи перевел на польский язык «Архипелаг ГУЛаг». Он издатель журнала «Новая Польша», который выходит на русском языке. Пожалуйста, пан Помяновский.

Ежи ПОМЯНОВСКИЙ (политолог, главный редактор журнала «Новая Польша»):

«Маргинализация национальной интеллигенции национальной властью – это вопиющая безответственность»

После того как я выслушал так много интересных и тонких рассуждений, у меня появилось желание вернуться к некоторым простым вещам. Мой учитель, профессор Тадеуш Котарбинский, у которого я начинал мое университетское образование, утверждал, что около 90% всех дискуссий начинаются и продолжаются лишь из-за неточного определения понятий. Поэтому для начала позвольте мне напомнить определение интеллигенции, многим из вас, наверное, известное, которое дал Ричард Пайпс.

Он сказал, что «интеллигенция — это слой людей, не заинтересованных материально в консервировании существующего порядка вещей». Отсюда ее готовность понимать необходимость перемен и поддерживать их. Правда, в коммунистические времена поляки на собственном опыте осознали, что следует из такого определения. Достаточно было обратиться в полицейский участок, чтобы узнать, кто такие интеллигенты. Любой полицейский ответил бы вам, что это люди, которых превентивно помещают на первых страницах списков будущих интернированных.

Так это было, и это, по-моему, не противоречит тому, что сказал Ричард Пайпс. Но то, что происходило у нас в начале 1980-х, было все же не совсем обычным явлением. И оно многое объясняет не только в нашем недавнем прошлом, но и в том, что происходит в Польше сейчас.

Я имею в виду так называемый период шестнадцати месяцев карнавала «Солидарности». Это было то, о чем два последних столетия мечтали многие умные люди, начиная с Оуэна, Фурье и других утопистов. Произошло то, что в 1920-е годы в Советском Союзе называлось «смычкой». Это была смычка интеллигенции и передового отряда рабочего класса. Только благодаря этому мы и стали свидетелями упомянутого мной карнавала «Солидарности», что привело впоследствии к коренному перелому 1989 года.

Эта «смычка» рабочих и интеллигенции выразилась в Польше в виде своего рода «десанта» интеллектуалов первого разряда, наделенных при этом тем, что по-польски называется «сполочниковским инстинктом» (т.е. чувством гражданской обязанности), в рабочую среду. Они приехали из Варшавы и Кракова, чтобы помочь бастующим рабочим. Я утверждаю (и, может быть, Адам Михник изволит это подтвердить), что благодаря тому «десанту» забастовка рабочих на верфи не ограничилась требованием повышения

заработной платы, а сопровождалась и выдвижением политических требований, включая требование освобождения «узников совести», т.е. Куроня и других друзей Михника.

Это были беспрецедентные события, учитывая и то, что совместные действия рабочих и интеллигентов увенчались в конечном счете успехом. Успехом, который положил начало аналогичным успехам в других странах так называемого социалистического лагеря. И одновременно лишний раз продемонстрировал позитивную роль неуспешных экспериментов в истории. Экспериментов, которые показывают людям, чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах.

В свое время мне, будучи студентом, довелось слушать лекции гениального человека, Алексея Дмитриевича Сперанского, опального последователя академика Павлова. Начинал он их с предупреждения, чтобы мы не искали успехов. Потому что, говорил он, неудачный эксперимент приносит порой результаты, гораздо более полезные для науки и для прогресса, чем многие удачные опыты. И эксперимент, проведенный в СССР в отношении интеллигенции, показал, что Алексей Дмитриевич был прав.

Как известно, в Советском Союзе пытались не ликвидировать интеллигенцию вообще, а превратить ее представителей в так называемых узких специалистов. Попытка, которая кончилась тем, что Советский Союз оказался позади стран Запада даже в производстве вооружений. И тогда в Кремле появился новый лидер — Михаил Горбачев, который хотел спасти социализм, осуществив его перестройку, для чего ему пришлось апеллировать прежде всего к той же интеллигенции, причем не к ее профессиональному, а к ее гражданскому сознанию. Но это лишь ускорило крах советской системы, происшедший несмотря на то, что ничего похожего на польскую «смычку» рабочих и интеллигенции в догорбачевском СССР не наблюдалось.

Но эта «смычка», этот уникальный союз оказался и у нас кратковременным. Дав толчок грандиозным переменам, он вскоре распался из-за легкомыслия польской интеллигенции. Этим распадом и обусловлены те трудности, которые Польша сейчас переживает. Это и дало возможность братьям Качинским обратиться к населению через голову интеллигенции и, получив его поддержку на выборах, попробовать править без интеллигенции, т.е. при игнорировании того гуманистического фактора, который отличает ее от всех других социальных слоев, занимающихся профессионально умственным трудом. Например, от чиновников.

Ярослав Качинский, человек больших способностей и очень успешный политик, отказывается, правда, считать свою партию «Право и справедливость» антиинтеллигентской. «Мы не антиинтеллигентская партия – говорит он. – Просто в какой-то определенный момент мы пришли к убеждению, что

нет у нас опоры, нет массовой поддержки для осуществления тех перемен, которые мы считаем абсолютно необходимыми. И поэтому мы обратились к другим слоям, обратились к массам — для того, чтобы получить большинство в парламенте». Но это было обращение к людям, представляющим самую отсталую часть общества. Они, конечно, в своей отсталости не виноваты, но решающее политическое значение имеет то, что среди них преобладают антиинтеллигентские настроения, что интеллигентов они не выносят.

Правительство Качинских, придя к власти благодаря их поддержке на выборах, не могло с этим не считаться. Но именно поэтому то правительство довольно быстро сошло со сцены. Следующие парламентские выборы партия Качинских проиграла. И не потому, что ее избиратели от нее отвернулись (они не отвернулись), а потому, что интеллигенция, в том числе интеллигентная польская молодежь, пришла на выборы, чего до того не делала. Именно это привело к тому, что партия интеллигентных братьев Качинских, опирающаяся на отсталые слои населения, те выборы проиграла. Надеюсь, что власть она потеряла безвозвратно, что впечатляющих побед у нее уже не будет, хотя полной уверенности в этом у меня нет.

Мировая история знает немало попыток править без образованного и обладающего гражданским чувством слоя народа. К чему это ведет, известно тоже. Можно вспомнить, например, о том, как исчезла цивилизации инков в Южной Америке. Колонизаторы уничтожили умственную элиту этого народа. Все его культурные и религиозные традиции остались при нем, но он никогда уже не смог подняться с колен. В новейшее время на эти традиции пытаются опереться, причем довольно-таки искусственно и не всегда успешно, что видно, скажем, на примере Венесуэлы. Негативные последствия экспериментов, направленных на уничтожение умственной элиты, могут сказываться столетиями.

Мы в Польше тоже хорошо знаем, что такое ликвидация национальной интеллектуальной элиты внешними силами. Напомню, что немецкие оккупанты, после того как вошли в Краков, первым делом созвали профессоров Ягеллонского университета и всех (или почти всех) сослали в Шафхаузен. То же самое сделали в украинском Львове, который тоже был тогда польским городом и одним из ярчайших воплощений польской традиции, что, разумеется, вовсе не исключает права украинцев считать его украинским.

Что сделали во Львове нацисты? Они расстреляли профессоров университета, включая выдающихся ученых с мировыми именами. Исходя из своих интересов, нацисты рассуждали правильно: достаточно обезглавить народ, лишить его национальной интеллектуальной элиты, чтобы властвовать над ним беспрепятственно. Но если для колонизаторов и оккупантов это логично, то маргинализация национальной интеллигенции национальной властью — это вопиющая безответственность.

Интеллигенция — не реликт прошлого. Это фермент и зачин будущего, убедительные доказательства чему мы находим сегодня и в Европе (например, в Финляндии), и на Дальнем Востоке (в Японии). Это страны, успехи которых общепризнанны, не имеют ни единого грамма натурального сырья. Их достижения стали возможны благодаря приоритетному развитию образования и науки. Или, что то же самое, благодаря опоре на интеллектуалов, на национальную интеллигенцию этих стран.

И потому я хочу завершить свое выступление чем-то вроде слогана, который звучит так: «Очкарики, объединяйтесь! Пожалуйста!»

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, пан Помяновский. Из вашего выступления хорошо видно, чем отличался режим Качинских в пору нахождения их обоих у власти от режима Путина. При режиме Качинских интеллигенция пришла на выборы, на которые раньше не ходила, в результате чего Качинские поста премьер-министра лишились. А у нас кто бы ни пришел, ничего измениться не может...

Глеб МУСИХИН:

Это пока.

Игорь КЛЯМКИН:

Понятно, что пока. Весь вопрос в том, сколько времени это «пока» продлится и что его может оставить в прошлом. Путинизм – это ведь состояние не только власти, но и общества. В том числе и значительной части интеллигенции.

Ирина ЯСИНА (вице-президент фонда «Либеральная миссия», руководитель «Клуба региональной журналистики»):

Сегодня, как вы знаете, Путин общается по телевизору с народом. Когда у нас был перерыв, я немного посмотрела этот спектакль. А потом попросила Кшиштофа Занусси оценить оформление студии и атмосферу в ней. Кшиштоф произнес, по-моему, совершенно гениальную фразу: «Путь на небо».

Игорь КЛЯМКИН:

Многие считают, что так и надо, что это соответствует нашей политической и прочей культуре. А о том, как она влияет на российских либеральных

интеллектуалов и что они ей противопоставляют, нам расскажет Эмиль Паин. Это его тема. Мы готовы слушать, Эмиль.

Эмиль ПАИН (профессор Государственного университета – Высшей школы экономики, руководитель Центра этнополитических и региональных исследований):

«Нельзя защищать демократию, добровольно соглашаясь сотрудничать с ее могильщиками»

Игорь Клямкин уже сформулировал тему моего выступления. Я буду говорить о том, насколько свободен интеллектуал в российских историко-культурных обстоятельствах. В ходе нашей дискуссии стало ясно: немалая часть присутствующих полагает, что уровень этой свободы чрезвычайно ограничен. На вопрос нашего модератора «А может ли произойти в России то, что произошло в Польше?» из зала тут же последовали ответы, пусть и в шутливой форме, но, по-моему, очень типичные для нашей современной ситуации: «Может, если заменить российское население польским». Но если у тех, кому нравится направленность польских изменений, осталась надежда только на смену населения в России, то тогда зачем здесь жить? Уж такого чуда у нас не произойдет точно.

Историк Александр Янов, оценивая нынешнее состояние российской либеральной мысли, пришел к неутешительному выводу: либералам лишь кажется, что они сопротивляются нашествию новых крепостников, а на самом деле они уже сдались, поскольку незаметно для себя переняли язык наступающего врага. Я согласен с историком, но от себя добавлю: переняли не только язык, но и мироощущение.

Недавно на встрече российских и грузинских экспертов один из российских ее участников, весьма уважаемый мной человек, безусловно, либеральных и демократических взглядов, так определил истоки различий в демократических процессах двух стран. В Грузии, мол, исторически сложился самый большой в бывшей Российской империи слой дворянства, а в России был самый значительный слой крепостных. Поэтому Грузия склонна к индивидуализму и готова к непрерывным революциям, а Россия — к рабству и к воспроизводству деспотии.

Вроде, на первый взгляд, похоже на правду. В постсоветской Грузии революции случаются так часто, что там даже появилось шутливое предложение: «Давайте внесем в Конституции норму о том, что президент приходит к власти раз в четыре года в результате революции». По поводу же периодического возвращения деспотии в России сегодня не говорит только ленивый. Но не все похожее на правду ею является. Я вот вспомнил, что доля дворянства, сопоставимая с его долей в Грузии, была в Польше и в Японии. Однако самурайство совсем не стимулировало революции в Японии. Да и в Польше, по крайней

мере в современной, смена власти происходит без революций. В разных ситуациях одно и то же явление, соприкасаясь со множеством других, приводит к совершенно разным следствиям. Это аксиома, причем вроде бы немудреная, однако почему-то идея «особых цивилизаций», вечно холопских или вечно шляхетских, очень популярна сегодня в России. И сама эта идея, на мой взгляд, не только приговор нынешнему уровню интеллектуальной мысли, но и вернейший признак застоя.

Что такое застой? На мой взгляд, это историческая ситуация, при которой правящие слои не хотят, а оппозиционные силы не могут и не знают, как жить по-новому. В эпоху застоя у власти и у оппозиции в ходу один и тот же миф о фатальной предопределенности судьбы страны и ее «особом пути».

В России нынешняя власть с его помощью оправдывает возвращение к имперской форме правления, ныне именуемой «суверенной демократией». Мол, что поделаешь, традиция у нас такая. «Культура – это судьба. Нам Бог велел быть русскими, россиянами» – это из установочной лекции Владислава Суркова, главного кремлевского идеолога. В ней наш новый Жданов или Суслов, опираясь на работы нашего нового Маркса – философа Ивана Ильина, указывает нам, что культура определяет вечные особенности политического строя. В российском случае это централизованная, персоналистская, деинституционализированная власть, где персоны важнее институтов, неформальные нормы важнее правовых. «Так было и так будет!»

В представлении идеологов нового издания официальной народности и суверенной культуры наиболее благословенные периоды в истории России связаны с деспотией, ныне уважительно называемой сильным государством или великой державой, которой боятся. Тогда как все попытки либерализации и демократизации приходились на периоды слабого государства и кризисов. И это, кстати, тоже похоже на правду. Но сходство с правдой лишь внешнее, поскольку в этом представлении перепутаны причины со следствиями.

Действительно, в периоды величия кто же будет думать о переменах? И так хорошо жить. Только когда великое государство с шумом садилось в лужу, когда само это величие приводило к катастрофам — например, когда самое большое и самое милитаризированное государство Европы середины XIX века проигрывало Крымскую войну иностранному экспедиционному корпусу, приплывшему к берегам России на нескольких кораблях, — тогда и приходилось начинать перемены. Но поскольку эти перемены осуществлялись самой властью, то она хотела их ограничить мелочами, чтобы лишь «ружья шомполами не чистить». Поэтому реформы всегда были оборванными, незавершенными, предвещавшими новый цикл колебаний российского маятника: от сильной руки — к свободе и обратно. И никогда еще этого «обратно» избежать не удалось.

Одни говорят о такой предопределенности с радостью, другие с сожалением (реальным или притворным), но суть одна — «не дергайся, не рыпайся, приспосабливайся». Вот новейший пример такого приспособления. Возникает новая партия «Правое дело», созданная прямо в Кремле, и ее основатели говорят об этом открыто, смело и честно: «Да, мы будем работать в шарашке, изготавливающей колючую проволоку для суверенной демократии, да, мы принимаем ее правила игры, но в рамках этих ограничений мы будем защищать истинную демократию». Не получится у вас, господа, защитить ее, коль уж вы добровольно согласились сотрудничать с ее могильщиками. А у них использовать вас — очень даже получится.

Есть время, когда возникает спрос на перемены, и тогда появляются интеллектуалы, жаждущие народовластия, тогда появляется писатель Максим Горький и прославляет бурю и Буревестника, а есть время застоя, время сильного государства, и тогда появляется писатель Максим Горький, но уже как председатель Союза писателей, и говорит: «Какие там бури, все позади. Партия дала нам все, отобрав у нас только одно право — писать плохо. Так не будем же злоупотреблять доверием партии. Приспособимся к ее требованиям».

Мне понятно, что время формирует спрос и на идеи, и на их носителей. Мне понятно, почему ныне в России нет спроса на демократию, но есть спрос на патернализм, фатализм и их «интеллектуальных» защитников. Но если мы говорим об интеллектуалах, то имеем в виду не только тех людей, которые всего лишь зарабатывают на жизнь умственным трудом. Обычно мы понимаем под этим людей творческих. Само же понятие творчества — это по определению стремление к новому и его созидание.

Во все времена появлялись люди, которые хотели вырваться на свободу из царства осознанной необходимости. И если бы не было таких людей, то не было бы ни коперников, ни галилеев, не было бы польской «Солидарности», не прославился бы мой друг Адам Михник, который не захотел приспосабливаться к социалистической демократии «народной» Польши. Мне такой образ мысли ближе, чем идеал демократов из «шарашки», поскольку их приспособительные рефлексы как раз и подавляют творчество.

Мне понятно, почему люди творческие сегодня уходят из политики и ищут те сферы (искусство, наука, бизнес), где пока есть возможность большей творческой самореализации, чем в политике. Но я уверен, что близятся перемены. Нынешний мировой кризис лишь симптом перехода мира в новую эпоху, назовем ее условно постмодерном, в котором способность к творчеству и будет основным капиталом общества, его конкурентным преимуществом. В таких условиях появится уже массовый спрос на творцов.

Вместе с тем не стоит забывать и об историко-культурных особенностях стран и народов. Они действительно существуют. Однако, должен вам сказать,

что, изучая материалы сравнительных социологических исследований, я к своему удивлению обнаружил, что сходство между Россией и Польшей неизмеримо большее, чем я предполагал. Во всяком случае, и та и другая страна занимает одно из последних мест в Европе по доле людей, уважающих закон. Зато они лидируют по доле людей, оправдывающих беззаконие. В обеих наших странах население не очень уважает власть. Что касается неуважения к парламенту, то Польша даже впереди всей Европы. И наши политические элиты во многом похожи. Во всяком случае, польские братья-близнецы в период, когда один из них был президентом, а другой – главой правительства, были в чем-то удивительно похожи на тех наших нынешних лидеров, которых в России называют «сладкой парочкой».

Но есть и различия. Судя по материалам сравнительного исследования академических институтов социологии – российского и польского, в наших странах люди по-разному трактуют понятие «свои». Для Польши это жители не только страны, но и всей Европы. В нашей же стране актуальное пространство, которое жители называют своим, ныне ограничивается Россией, в лучшем случае СНГ, да и то потому, что это тоже большая Россия («они когда-нибудь к нам вернутся»).

У японцев, как сказал профессор Помяновский, «ни грамма собственного ресурса». Им нужно много трудиться и постоянно перестраиваться просто для того, чтобы выжить. В Польше тоже ресурсов негусто. Зато в России собственных ресурсов пуды и тонны. Нам-то зачем обновление? Зачем нам эта Европа, зачем Запад? И так проживем.

Далее, наши богатые ресурсы порождают в народе сомнения относительно замыслов внешнего мира: «Все они на наши ресурсы зарятся, все они хотят отхватить жирные куски нашей территории». А сейчас появился еще и новый страх, возникли новые подозрения к внешнему миру. Они связаны с популярной в России идеей о некой мистической, врожденной, общемировой русофобии: «Ну, поляки, понятно, нас не любят, но и все остальные тоже». А в этих условиях какое уж вхождение России в Европу?

Конечно же, моему другу Адаму было в сто раз легче оставаться нонконформистом и стремиться к созиданию новой политической реальности в Польше, чем нам здесь. Он мог опереться на некую историко-культурную автоматику, на культивируемое польской элитой уже полтора века стремление вырваться из империи и войти в ту самую Европу, в которой ныне преобладает спрос на демократические ценности. В России такой целевой установки не было. И что я тогда должен сказать? Все, сдаемся, прав тот, кто говорит об исторической необходимости приспособиться к империи и к ее особой культурной почве, взыскующей сильной руки с кнутом? Неужели нужно признать правоту публициста Леонида Радзиховского, предложившего тем, кто не хочет кнута в России, свой рецепт: «Хочешь свободы, как в Швейцарии,

так уезжай в Швейцарию»? Только десятки миллионов моих сограждан, уже стремящихся к более свободной, чем ныне, жизни, в Швейцарии не поместятся, да и вообще эмигрировать не собираются. Им и мне нужно думать, как жить в России, и у нас есть надежда. Россия — маятник, и все в ней меняется очень быстро.

В 1991 году в нашей стране, где не было никаких историко-культурных позывов к Европе, большинство (67%) опрошенных говорили о том, что «социализм завел нас в тупик, наше будущее и наша модель – это Запад». Это говорили люди в России, с ее необычайно прочными гравитационно-культурными стяжками. И такое настроение держалось, между прочим, два года, пока потихоньку не стало вытесняться усталостью от незавершенных реформ. Тогда и заговорили: «Да, социализм был не так уж плох, а Запад не очень нам подходит». Тут же откуда ни возьмись появились традиционные российские «инженеры человеческих душ», заголосившие: «Да, конечно не подходит, у нас особая цивилизация». И это сработало. Ментальность подвержена конструированиям, и современная культурология исходит из того, что роль конструктивного фактора сильно возрастает. Наиболее подвержено манипулированию массовое сознание в обществах, лишенных опыта самоорганизации и саморегулирования. Однако цикл спроса на традиционализм завершается.

Я абсолютно уверен, что очень скоро снова наступят времена, когда в российском обществе будет спрос на перемены. Только я не уверен, что к тому времени интеллектуалы либерального толка будут готовы к тому, чтобы встретить исторические перемены каким-то новым технологическим заделом, социальными и политическими проектами, которые будут: а) действительно значимы для общества; б) приемлемы для него; в) восприняты как национальноспецифичные, пригодные для нашей трудной почвы.

Игорь КЛЯМКИН:

Мы для того и собрались, чтобы хотя бы обозначить проблему, о которой говорит Эмиль Паин. Дело в том, что у нас нет на либеральном фланге проектных интеллектуалов. Более того, они почти все считают, в том числе и некоторые из здесь присутствующих, что заниматься какими-то общественными проектами – занятие для интеллектуала не очень достойное, потому что...

Эмиль ПАИН:

Потому что это опрощение.

Игорь КЛЯМКИН:

Да, опрощение. Что это поприще для идеологов и политтехнологов вроде Дугина, Павловского или Маркова. Только и слышишь: то-то и то-то недостаточно изучено, недостаточно осмыслено, недостаточно понято. И что же такое нам предстоит еще понять, например, в сталинизме, чтобы непредвзято отнестись к правовой оценке Украиной того же Голодомора и сделать соответствующие выводы применительно к России?

Происходит своего рода бегство от целеполагания в познание. Мол, настоящий интеллектуал призван изучать то, что было и есть, а проектировать то, как должно быть, — это за пределами объективной науки и научной деятельности...

Адам МИХНИК:

Но именно об этом говорил и Эдмунд Внук-Липинский...

Игорь КЛЯМКИН:

По-моему, он говорил о деятельности интеллектуала в стране, где демократические преобразования политической системы уже завершены. В России же дело обстоит иначе, она не так уж далеко ушла от состояния, в котором Польша находилась до первых свободных выборов 1989 года. В те времена, насколько я понял, интеллектуальная деятельность отнюдь не считалась у вас несовместимой с проектным политическим мышлением, изучение того, «что было и есть», — с экспертным моделированием того, как «должно быть». А у нас многими считается, хотя в политическом смысле ситуация в России, повторяю, сегодня не так уж сильно отличается от той, что была тогда в Польше. При этом и объекты изучения выбираются таким образом, чтобы избежать соблазна целеполагания. Где вы видели стремление изучать путь к демократии той же Восточной Европы?

Однако самое интересное заключается в том, что такая позиция может сочетаться с жесткой критикой деятельности российской интеллигенции в недавнем прошлом за отсутствие у нее позитивных программ, за несозидательный критический пафос. А порой даже и с критикой нынешней власти и властной системы – не менее суровой, чем критика советской интеллигенцией системы коммунистической. И чем же в таком случае эти два типа критики друг от друга отличаются?

Не знаю, культурный это феномен, психологический или какой-то еще. Но то, что он существует, – это факт.

Евгений ЯСИН:

Можно вмешаться в ваш разговор? Я хочу обратить внимание на то, что в моей книжке «Приживется ли демократия в России?», вышедшей в 2005 году, изложена программа, которую я предложил для демократов. Вполне конструктивная

Игорь КЛЯМКИН:

Да, такие программы есть. Есть ваша, есть и другие. В конце концов, программы российских либеральных партий тоже сочиняли интеллектуалы. В них говорится о том, что нужно сделать, чтобы Россия стала свободной и демократической страной, какие осуществить в ней институциональные преобразования. Но я-то говорил о другом. Я говорил о проектах, адресованных не узкому кругу аналитиков и партийных активистов, а обществу.

Широкие слои населения, даже образованного, не очень-то интересует, как должна быть устроена демократия, потому что после опыта 1990-х оно плохо понимает, зачем ему нужна сама демократия, как она связана с интересами миллионов людей. И чтобы войти в контакт с их сознанием, нужно убедить их в том, что демократия им выгоднее, чем ее отсутствие. Убедить, учитывая и эволюцию в этом сознании представлений о самой демократии.

Вот о каком проекте я говорил. О проекте, транслирующим в общество смысл демократии (экономический, политический, нравственный), а не только соображения о том, как она должна быть устроена. В конце 1980-х — начале 1990-х годов этого было бы достаточно. Сейчас — уже нет. Общество стало другим, и сегодня любой проект не может не учитывать сдвиги, происшедшие в его сознании пол влиянием опыта 1990-х.

Судя по данным социологов, запрос на такой проект появляется и в самом обществе. Это уже реакция на опыт годов 2000-х, о чем, насколько я знаю, собирается говорить Кирилл Рогов, которому и предоставляю слово.

Кирилл РОГОВ (сотрудник Института экономики переходного периода, политический обозреватель «Новой газеты»):

«Тема "интеллигенция и демократия", утратившая актуальность в 1990-е годы, снова становится злободневной»

Тема «интеллигенция и демократия» еще несколько лет назад могла показаться сугубо исторической. Вполне ясный – в контексте советского социума – конструкт «интеллигенция» становился все менее и менее определенным и содержательным в ходе перестройки экономической и социальной реальности,

которая происходила в России и других постсоциалистических странах на протяжении 1990-х годов.

Отдавая дань той роли, которую сыграла интеллигенция в демонтаже коммунистического режима, нельзя было не признать: новая система экономических отношений и выстраиваемые ею иерархии ценностей подрывают и лидерские позиции интеллигенции в обществе, и саму возможность ее сохранения как специфического социального слоя. Слоя, который, говоря очень приблизительно, характеризовался не только определенным уровнем образования и родом занятий (интеллектуальный труд), но и ориентацией на специфическую субкультуру. Субкультуру с собственными ценностями, в той или иной степени оппозиционными официальной («партийной») системе ценностей и всей официальной культуре идеократического советского государства.

Так вот, в 1990-е казалось более или менее очевидным, что социальное лидерство переходит от интеллигенции к формирующемуся частному бизнесу. Причем лидерство не только экономическое. Бизнес выдвигался на ведущие позиции и в формировании политической и общественной повестки дня, в организации национальной политической и общественной коммуникации, в выработке социальных стандартов и ценностей. В то время как выполнившая свою историческую миссию в ходе революции 1989—1991 годов интеллигенция выглядела «уходящей натурой».

Однако опыт общественной и политической жизни России 2000-х годов заставляет несколько пересмотреть эти представления 1990-х. И дело не в том, что интеллигенция нашла свое место в новой социальной реальности, трансформировалась и сохранила свои позиции. Дело в том, что опыт формирования общенациональной политической и общественной повестки дня, опыт выработки общенациональной платформы для политической коммуникации, для инсталляции в общественную и политическую жизнь новой системы ценностей и правил, реализованный на рубеже 1980–1990-х интеллигенцией, оказался пока единственным успешным опытом такого рода. Бизнес же обнаружил неспособность создать такое пространство общенациональной политической дискуссии и «сохранить» более или менее стабильную систему ценностей, которая могла бы определять рамки этой дискуссии. «Прагматизм» предпринимателей, казавшийся в 1990-е их огромным преимуществом перед увядающей интеллигенцией с ее «идеалами», оказался на поверку их слабым местом, невосполнимой родовой травмой.

В новом контексте, созданном сытыми 2000-ми, тема «интеллигенция и демократия» перестает быть темой исторической, а становится, напротив, весьма злободневной. И вопрос, который перед нами встает и требует ответа, может быть сформулирован так: каким образом интеллигенция сумела навязать советско-российскому обществу на рубеже 1980–1990-х годов представления о

ценности и практичности демократии и что способствовало их быстрой девальвации, если таковая имела место? Или, по-другому, этот вопрос может быть сформулирован следующим образом: что произошло в общественном сознании с понятием «демократия», когда в 1990-е оно выскользнуло из рук интеллигенции?

Даже при самом беглом ретроспективном анализе судьбы «демократических ценностей» в те годы можно выделить две противостоявшие друг другу позиции. Первая — «демократия против рынка». Вторая — «рынок против демократии». Попробуем в них разобраться.

Позиция *«демократия против рынка»* появилась в публичном пространстве почти сразу после запуска экономических реформ. 9 января 1992 года, через семь дней после того, как в России были отменены фиксированные цены на продукты и товары розничной торговли, один из лидеров победившей оппозиции (движение «Демократическая Россия») Юрий Буртин выступил в «Независимой газете» со статьей. В ней он призвал обеспечить карточный минимум продовольствия по низким ценам для населения и решительно осудил «либерализацию цен». Логика его состояла в том, что эта либерализация ставит крест на демократии в России, потому что неминуемо приведет к массовому недовольству, которое будет использовано реваншистами и обеспечит массовую поддержку будущей контрреволюции. Для того чтобы сохранить демократию, необходимо остановить болезненные экономические преобразования и прислушаться к голосу большинства.

Через две недели состоялся пленум «Демократической России», на котором сформулированная Буртиным позиция была оформлена в политическую платформу. В результате в руководстве движения произошел раскол. При этом главным лозунгом «радикальной» группы, осудившей начавшиеся экономические преобразования, была именно «демократия» («остаться на позициях большинства»), а группа, поддержавшая экономические реформы, удостаивалась упреков в отступлении от демократических идеалов. Этот раскол стал одной из ключевых проблем в демократическом движении 1990-х, а само его возникновение фактически обозначило конец демократического консенсуса 1989—1991 годов.

В дальнейшем раскол оформился организационно в виде двух партий – «Яблока» и «Демвыбора», которые не могли прийти к соглашению о совместных действиях. Они резко полемизировали друг с другом, что в значительной степени предопределило судьбу «демократических ценностей» в глазах населения и поражение «демократов» в политической борьбе. В отличие от широко распространенного представления, приписывающего этот раскол в большой мере личным амбициям лидеров, я думаю, что он был вполне принципиальным и в значительной мере подготовленным самой спецификой демократического консенсуса 1989–1991 годов и особенностями его идейной платформы.

Дело в том, что в той платформе, которая была сформулирована к 1991 году как платформа демократической революции, обретение политических свобод и обретение экономических благ выглядело этаким Procter and Gamble — двумя бонусами в одном флаконе. Предполагалось, что когда диктат КПСС будет уничтожен, то исчезнет и главная преграда — эдакий валун, лежащий на нашем пути по «дороге процветания»; экономическое благополучие станет неизбежным призом и результатом политических преобразований. Это представление, безусловно, было очень продуктивно в предреволюционной ситуации, и, по сути, именно оно обеспечило массовую поддержку демократическому движению конца 1980-х. Однако, с другой стороны, именно это представление оказалось серьезной проблемой на следующем этапе, когда результаты экономических преобразований и преобразований политических оказались не только разными, но и в значительной мере противоречащими друг другу.

Более того, в известном смысле ситуация начала складываться так, что политические права нужны были одной части населения, а экономические — другой. Те, кто сумел извлечь из экономических прав материальную выгоду, не ходили, как правило, на митинги, не интересовались выборами и предпочитали решать все свои проблемы с помощью взятки (благо теперь у них появилась такая возможность). Политические права им как бы были и не нужны. В свою очередь, этими правами интересовались в основном те, кто, как тогда говорили, «не включился в рынок». Эта группа продолжала ходить на митинги и интересоваться гуманитарно-политическими проблемами, в чем выражалась в том числе ее глубокая фрустрация от экономических результатов политического «освобождения». Трансформация политического неравенства советской системы в экономическое неравенство «дикого рынка» выглядела для представителей данной группы как крушение «демократических идеалов», как подмена «демократии». Эту позицию я и определяю как позицию «демократия против рынка».

Вторая позиция, обозначившаяся в те годы, — *«рынок против демократии»*. На самом деле, если мы всмотримся в аргументацию тех, кто продолжал поддерживать «либерализационные» экономические реформы, то обнаружим, что логика их по модулю была весьма схожей с логикой «радикальных демократов». Но в отличие от первых из дуплета предреволюционной программы (демократия + рынок) они выбрали в качестве приоритета рынок.

Как мы знаем, по результатам выборов и 1993, и 1995 годов в российском парламенте сложилось оппозиционное большинство, что не вело, однако, к смене правительства. Это был очень важный момент. Ведь если, несмотря на вполне однозначные результаты парламентских выборов, смены правительства не происходило, то это, естественно, не могло не девальвировать значимость и парламента, и партий, и самого института выборов в глазах населения.

Интересно, однако, что сторонники «либерализационных» реформ рассматривали сохранение реформаторского правительства как важнейшее условие «сохранения (спасения) демократии». Предполагалось, что продолжение интенсивных реформ позволит в обозримые сроки сформировать в России класс собственников и так называемый средний класс, который в будущем и станет опорой демократического режима. Переход же исполнительной власти в руки коммунистической оппозиции на фоне экономического спада с большой вероятностью будет означать, мол, остановку реформ, последующую отмену выборов и реставрацию коммунистического режима. Иными словами, ограничение демократии сегодня мыслилось как необходимый шаг к демократии в будущем. В то время как «демократия сегодня» воспринималась как представлявшая для этой цели серьезную опасность.

Во второй половине 1990-х коалиция в поддержку рынка против демократии стала очень влиятельной. Бизнес-элиты и сторонники разного рода «прагматических взглядов» все более приходили к убеждению, что демократия мешает рынку. И что для успешного и быстрого продвижения по пути модернизации и развития новых институтов придется пренебречь процедурными тонкостями «нормального» демократического процесса. Пиком интеллектуальной влиятельности этой коалиции можно, наверное, считать распространившиеся в конце 1990-х годов, когда надежд на поддержку реформ со стороны большинства уже не оставалось, мечты о «русском Пиночете». Мечты, сыгравшие существенную роль в легитимации в сознании элиты, в том числе значительной части демократической, прихода к власти «человека из КГБ».

С другой стороны, у широких слоев населения отсутствие удовлетворительных экономических итогов «демократизации» 1990-х также формировало представление о «подмененности», фантомности постсоветской демократии и ее ценностей. Таким образом, в сознании значительной части российского общества к концу 1990-х годов уже, можно сказать, сложился своего рода антидемократический консенсус. Это отнюдь не предполагало тотального отказа от ценностей демократии как таковой и выдвижения ценностей, им альтернативных. Но это был явный отказ от того понимания исторического развития, которое было характерно для демократического консенсуса 1989—1991 годов.

Тогда политические преобразования — демонтаж тоталитарной системы и замена ее демократической — осмыслялись как главная предпосылка создания рыночной экономики и продвижения по пути благосостояния. Теперь же именно развитие экономики, экономический успех выглядели важнейшей предпосылкой всего остального — в том числе и продвижения к устойчивой демократии. Демократия стала целью «второго порядка», а ее «сокращение» здесь и сейчас стало рассматриваться как допустимое, а иногда и необходимое условие экономического успеха.

Возвращаясь к вопросу о том, что же произошло с демократией в России в 2000-е годы, важно прежде всего иметь в виду, что демократия остается и для российского населения, и даже в официальной риторике властей базовой ценностью. Не существует какой-то альтернативной идеологической доктрины, противопоставляющей «демократии» иные, несовместимые с ней цели. Точнее, они есть, но являются заведомо маргинальными. Спрос на демократию отнюдь не исчерпан. Проблема, на мой взгляд, не в минимизации такого спроса, а в распаде общего представления о том, что такое демократия. Понятие «демократия» в общественном мнении не столько девальвировано, сколько проблематизировано.

Во-первых, существует, как показывают социологические опросы, разделяемое абсолютным большинством населения представление о неуниверсальности самого «облика» демократии и пути к ней. Так, согласно данным «Левада-центра», около 80% респондентов в 2006—2007 годах полагали, что «каждая страна проходит свой путь к демократии», и лишь около 7–10% считали, что «все страны движутся к демократии одним путем».

Во-вторых, следует иметь в виду, что согласно тем же социологическим опросам в 2000-е годы в восприятии людей демократии в России стало больше, чем было в 1990-е. И к этой оценке, так резко противоречащей элитарному мнению о «сворачивании демократии» в путинскую эпоху, необходимо отнестись серьезно. Она как раз и свидетельствует о том, что само слово «демократия» может наполняться разным смыслом.

В целом я бы выделил три различающихся и даже конкурирующих понимания этого смысла, которые представлены в общественном мнении.

В рамках первого представления приоритетом являются права человека. Предполагается, что любой политический режим, который будет отвечать прочим критериям «демократичности», но не обеспечит соответствие этому, должен считаться «псевдодемократией». К данной точке зрения в наибольшей степени тяготеет демократическое сознание интеллигенции. Пожалуй, это наиболее элитарная и наиболее маргинальная позиция.

Второе представление о демократии акцентирует идею конкуренции. Оно наиболее близко людям бизнеса, различных групп хозяйственных элит и тому новому образованному классу, который в наименьшей степени воспринимает себя как наследника интеллигенции. Конкуренция — это прежде всего соревнование неких групп за власть в публичном пространстве. Например, на российских парламентских выборах 1999 года такое соревнование имело место, хотя ситуация в тот момент в стране не могла быть описана как полноценная демократия. Суть этой второй концепция можно охарактеризовать как «демократию элит». Проблема прав человека выглядит здесь менее значимой, чем возможность для элитных групп конкурировать за ресурсы и административные полномочия, привлекая на свою сторону электорат.

И наконец, третье представление — безусловно, наиболее популярное, но и наиболее архаичное. Это представление о демократии как способе достижения общего блага. И правительство, которое, по мнению сторонников такого понимания, пытается достичь целей общего блага, в наибольшей степени соответствует образу «демократического». Данное толкование демократии в значительной степени полемично по отношению к предыдущему: правительство «общего блага» в сознании сторонников такой точки зрения противопоставлено, по сути, отрицательному образу «демократии элит», где общие интересы подменены интересами тех или иных групп и клиентел, а участие широких слоев населения в их кулуарной борьбе не приносит населению ощутимых выгод.

Это третье представление непосредственно восходит к тому антидемократическому консенсусу, о котором я уже говорил. Так, в опросе «Левада-центра» (январь 2008 года), предлагавшем респондентам указать наиболее существенные признаки демократичности общества, с большим отрывом лидирует ответ «высокий уровень жизни населения». На этот признак указали 60% респондентов. Следующие за ним по частоте упоминания такие признаки, как «порядок, соблюдение законности», «равенство всех граждан перед законом» и «соблюдение политических прав и свобод граждан», были упомянуты соответственно 49, 45 и 44% респондентов. А «разделение властей, независимость суда и законодательной власти», «плюрализм мнений, отсутствие тотального государственного контроля над средствами массовой информации» и «соблюдение прав и интересов национальных и иных меньшинств» назвали в числе признаков демократии лишь 6–12% опрошенных. Именно сторонники такого ее понимания обеспечивают поддержку политики В. Путина, и именно они склонны считать, что в 2000-е годы демократии в России «стало больше».

Тем не менее есть некоторые основания предполагать, что период разочарования в демократии, т.е. эпоха антидемократического консенсуса, в России заканчивается. К такому предположению подводят некоторые данные того же «Левада-центра».

Если в 1999 году 43% опрошенных были уверены в том, что России нужна одна сильная правящая партия, за существование двух-трех крупных партий высказывалось 35% и еще 5% видели пользу в существовании многих партий, то в 2008 году картина выглядит уже существенно иначе. Вариант одной правящей партии теперь выбирает 32% респондентов, за наличие двух-трех партий выступают 45% и еще 8% считают полезным наличие большого количества партий. Это значит, что в целом соотношение сторонников однопартийности и многопартийности было 43:40, а стало 32:53. Увеличилась и доля тех, кто убежден в необходимости политической оппозиции. Если в 2000 году такую убежденность декларировали 47% опрошенных, а 29% считали оппозицию ненужной, то в 2008-м это соотношение составляет уже 62:21.

Ухудшение экономической ситуации по мере углубления кризиса скорее всего подстегнет процесс разочарования в «сильной власти». Однако рост спроса на демократию будет сталкиваться сегодня с серьезной проблемой. Как я пытался показать, для удовлетворения такого спроса потребуется новая концептуализация самого этого понятия. «Демократия» — не выключатель на стене: так «Вкл.», а так «Выкл.»; в сознании общества ее границы и содержание могут очень сильно варьироваться. И по мере того как спрос на «демократию» будет расти, будет возрастать и конкуренция за новую интерпретацию ее содержания со стороны различных социальных групп и групп интересов. И здесь у демократической интеллигенции может появиться шанс на восстановление — хотя бы частичное — утраченных ею в 1990-е годы позиций.

Игорь КЛЯМКИН:

Да, если она осознает свою миссию и предложит обществу проект, альтернативный тем проектам, которые представлены сегодня на политическом рынке. Пока этого нет. Посмотрите, как активизировались в последнее время приверженцы имперского проекта; его обоснованию и обсуждению посвящаются целые номера журналов. А на либеральном фланге ничего такого не наблюдается. Кто-то ждет, что режим рухнет под ударами экономического кризиса. Кто-то тратит все силы на критику властей. А кто-то, наоборот, предлагает им свои соображения относительно косметической демократизации политической системы «сверху». Но обществу никаких проектов не предлагается.

Мы выслушали все сообщения, которые планировались заранее. Переходим к свободной дискуссии. У меня уже большой список желающих выступить. Чтобы предоставить слово всем, я вынужден установить довольно жесткий регламент — не больше пяти-семи минут на выступление. Первой записалась Мариэтта Омаровна Чудакова.

Дискуссия

Мариэтта ЧУДАКОВА:

«Нам нужна легальная либеральная партия, чтобы получить доступ к широким слоям населения»

Мое выступление во многом прозвучит диссонансом, по крайней мере для моих соотечественников, хотя все, что здесь говорилось, для меня лично очень интересно и значительно. Но, может быть, мои слова иначе прозвучат для наших гостей. Им я должна сказать, что никогда не пила обычный наш когда-то тост за успех нашего безнадежного дела — всегда демонстративно ставила рюмку и говорила: «Нет, я за это пить не буду, я не считаю наше дело безнадежным», но всегда считала действенным тост «за вашу и нашу свободу». Поэтому, если мы сегодня начинаем говорить о том, что у нас не получилось с нашей свободой — этот мотив тут звучит все время так или иначе, — а именно вы, поляки, были для нас в 1980-е и последующие годы образцом этой свободы, то мы, получается, вас подвели.

Но я так не думаю. В отличие от подавляющего большинства нашей интеллигенции я не считаю, что у нас ничего не получилось. Потому что если бы действительно не получилось, то пусть и не все (не буду примазываться к диссидентам), но по крайней мере многие из нас сидели бы сейчас не здесь, а совсем в другом месте и мы вряд ли вели бы эту свободную беседу. Значит, у нас все-таки очень многое получилось. Но когда мы слушали выступления людей из Польши... уж и не знаю, как их называть, потому что не хочется употреблять очень хорошее выражение, но для меня все-таки еще остающееся запятнанным советским официозным употреблением, — «наши польские друзья». Да, я не могу пока избавиться от того, что это советизм: «братские партии», «польские друзья», «венгерские товарищи»... Так вот, когда говорили наши гости из Польши, наши сотоварищи, стала еще более выпуклой и очевидной та разница, которая и раньше для нас была ясна.

Например, сегодня – с этим, думаю, никто из моих соотечественников не будет спорить – у большинства российского населения нет того уважения к деньгам, где бы они ни были заработаны, которое, как мы слышали, могут испытывать поляки. Нет уважения к большому красивому дому, на какие бы честно заработанные деньги он ни был выстроен. У нас сегодня обязательно подозревают худшее.

Во-вторых, конечно, огромный наш по сравнению с вами пробел – у нас не было такого очевидного, какой был в Польше, единства нации, нет его и сегодня. Может быть, мы его постепенно добъемся. Но и в этом случае останется большой вопрос – сможет ли достигнутое единство служить либеральным целям.

Третье же совсем из другого ряда. Когда я наблюдала в 1980-е годы за деятельностью «Солидарности», я всегда думала о разнице рабочих: наши рабочие могли бы, конечно, продолжать забастовку при сухом законе в течение понедельника, вторника... Ну, среда, четверг... в самом крайнем случае – пятница. Но уж в субботу-то надо выпить!..

Так что ни за что не удалось бы продержаться два месяца на сухом законе. Говорю как вполне патриотка своей страны. Не удалось бы, к сожалению.

Переходя к сегодняшней теме, хочу возразить Сергею Адамовичу Ковалеву в одном пункте его замечательного доклада. На мой взгляд, вы уменьшаете роль моральной оппозиции. На самом деле ее роль была огромна. И особенно это проявилось в годы перестройки. Мало того: опираясь и на пример вашей биографии, морально зачеркивали некоторых «прорабов перестройки», которых вовсе не надо было бы зачеркивать, – вплоть до Булата Окуджавы. Говорили: сравните, что делал в брежневские годы Ковалев, а что – они. Думаю, вы это и сами прекрасно помните. И так или иначе, это представление о самоотверженных усилиях диссидентов легло в фундамент преобразований конца 1980-х – начала 1990-х, и ваш пример участвовал, я уверена, среди прочих факторов и в духовном, мировоззренческом переломе Бориса Николаевича Ельцина.

Огромную роль сыграл и выход всего семи человек на Красную площадь в 1968 году. И далеко отстоящим по времени результатом становится, может быть, поведение наших присяжных заседателей – тех девятнадцати человек, которые недавно сказали, что они считают, что судья лжет. А ведь очень многие говорили: «Разве у нас получится справедливый суд присяжных – никогда не получится!»

Для того чтобы понять происходящее сегодня, нужно вспомнить отношение интеллигенции к двум нашим лидерам — последнему президенту Советского Союза и первому президенту России. Что обычно говорят о Горбачеве? О нем говорят: «Не хотел конца социализма, верил в него; если бы знал, что советская власть рухнет — не начал бы перестройку». Конечно, он верил. Он и сегодня верит, что социализм можно было реформировать. Но — важнейший нюанс. Он, конечно, не хотел, берясь за перестройку, разрушать социализм — он хотел его улучшить. Но, как опытнейший партработник, человек партийной системы, он знал: здесь опасно трогать даже один кирпичик, потому что обрушиться может все, — как и произошло. Знал — и пошел на это. Спросим: почему же он пошел, если знал?

Потому что действовал, как я озаглавила статью к его 75-летию, «импульс Великой Утопии». Горбачев верил, что такая замечательная вещь, как социализм, как-нибудь да выплывет. Не выплыл – к счастью, так сказать. Но вот эта тонкость важна: знал, допускал, но – рискнул, пошел на перестройку. Когда же стали доказывать, что все, мол, было обусловлено экономикой (упали цены на

нефть и т.п.), что сам он здесь вообще ни при чем, то это дал о себе знать советский детерминизм, который сегодня господствует в умах.

Это полное отрицание свободы воли, которая все-таки является христианским постулатом, католическим, кажется, в большей степени, чем православным: свобода воли, свобода выбора. Почему сегодня у нас очень многие неплохие, неглупые люди, с которыми я во многом другом соглашаюсь, говорят, что партия «Правое дело» будет марионеткой Кремля? Потому что привыкли считать людей марионетками — советская власть приучила за долгие годы. Логика такая: раз Кремль придумал эту партию, значит, все в ней будут ему подчиняться. Потому что в партиях, которые не подчиняются, он не нуждается.

Между прочим, советская власть тоже не нуждалась в наших работах — ни в работах Сергея Аверинцева, ни в работах Михаила Леоновича Гаспарова. Но разве они были марионетками этой власти? Найдите в их напечатанных при советской власти трудах хотя бы *одну строку*, которой бы сегодня постыдились они, будь они живы, или мы, их поклонники! Не найдете. Так что все гораздо сложнее. И очень многое зависит от человека, что у нас очень часто забывается.

Я не совсем поняла слова моего сотоварища, глубоко мной уважаемого Льва Дмитриевича Гудкова о том, что вся наша интеллигенция (мы же о ней сегодня говорим), была встроена в структуру советских государственных органов. Да я могу начать и не переставая называть череду имен: Натан Эйдельман, Булат Окуджава, Юрий Домбровский, Григорий Померанц – ни сном ни духом они к этой структуре не имели отношения.

Другое дело, что как раз при Горбачеве я слышала от замечательных людей: «Для меня самое главное, что я в команде Горбачева». И, желая, чтобы он победил, бездумно повторяли за ним: «Больше социализма!» Я еще пробовала возражать, выступая на конференциях: дескать, давайте задумаемся, может, меньше как раз социализма-то надо? Но тогда не было принято рассуждать на эти темы.

Так вот, очень правильно говорили все мои сотоварищи, что никто не готовился к концу советской власти. А почему не готовились? Почему никто не обдумывал, каковы будут наши действия? А как раз потому, что, как сказал Сергей Адамович, никто не верил. Вот это и был политический идеализм, этический идеализм. Действовали замечательно, но никто не верил в конец советской власти.

Сколько раз я слышала слово «никогда! «У нас этого *никогда* не будет» – того, другого, третьего. Меня, можно сказать, замучили, объясняя, что «Собачье сердце» никогда в отечестве не будет напечатано. А я устала повторять: «Запомните этот день – уверяю вас, вы увидите его напечатанным при своей жизни, в советской печати…» Что все и увидели в 1987 году. Но подавляющее большинство интеллигенции мыслило в унисон с Сусловым, который сказал Василию Гроссману, что его роман будет напечатан не ранее, чем через двести лет.

Да, не были готовы. И сегодня совершенно правильно было сказано, что и не будем готовы. Между тем во время кризиса все сдвинулось. Мы не знаем, куда мы идем. Нас ждут неожиданные перемены, которые, похоже, действительно могут застать нас врасплох. И именно поэтому перемены могут оказаться весьма печальными.

Так не были готовы мы и к концу периода правления Ельцина. И когда сегодня интеллигенция заводит свой любимый мотив, обвиняя Ельцина: зачем он подсудобил нам такого преемника? – я всегда возражаю: «А что, у нас с вами был подготовлен свой демократический кандидат, которого он откинул?» Так что нечего тут перекладывать с больной головы на здоровую. Президент, уже тяжело больной, весь второй срок самоотверженно держал над нашими головами крышу демократии, а интеллигенция потратила это драгоценное время на устройство личных дел.

Сегодня уже стало модным сомневаться в выборах 1996 года. Многие мои сотоварищи, в том числе, к моему удивлению, и Лев Дмитриевич Гудков, с которым мы обсуждали это в перерыве, говорят, что было бы лучше, если бы те выборы выиграл Зюганов: процедурная правильность защитила бы, как я его поняла, от сегодняшних нарушений. По-видимому, люди продолжают верить, что деньгами можно сделать двенадцать с половиной процентов, на которые Ельцин опередил Зюганова. Я же считаю, что если такие проценты делались бы деньгами, в мире вообще не было бы выборов: просто собирались бы самые богатые люди за столиком зеленого сукна и кидали кости. Но главное в том, что России в тот год абсолютно необходимо было выиграть эти выборы, т.е. не допустить к власти нераскаявшегося коммуниста.

Можно было бы не думать об этом – как пойдет, так и пойдет, если бы не было примера Гитлера, который пришел к власти демократическим путем. Смешно думать, что Зюганов – не сегодняшний, а 1996-го года, – придя к власти и имея в распоряжении армию, флот и атомное оружие, вдруг бы потом, заливаясь слезами, ушел, проиграв через четыре года кому-то выборы. Смешно. Коммунисты приходят не за этим. Потому выиграть у них было необходимо. Но дело не только в этом. Я считаю, что весь второй срок совершенно больного президента был очень важен, важен был каждый день его.

Каждый день — это я не для красного словца говорю — цементировал российскую демократию. Потому что, кто со строительством имел дело, тот знает, что цемент схватывается не сразу, а долго. Именно поэтому в течение двух президентских сроков Путина демократию не удалось разрушить. Не удалось и, надеюсь, и не удастся.

Я согласна полностью с Сергеем Адамовичем, что будущее за этическим и политическим идеализмом. Только настоящее-то тоже имеется. Это нас советская власть хотела его лишить. У Пьецуха есть хороший рассказ, где подросток

какой-то устроил коммунизм в одном поселке. И ему так испуганно говорят, когда набрели на этот поселок: «Не преждевременно ли?» А тот отвечает: «Конечно, преждевременно. Но пожить-то больно хочется». Так вот, мы уже пожили и видели многое. Для меня ночь одна у Белого дома в 1991 году стоит, может быть, очень многих лет жизни. А вот дети и внуки — они сегодня живут. Что же, мы будем опять говорить, как повторяли все во время перестройки: «Нет, должно смениться три поколения...» — только тогда, мол, что-то получится?

Это все оказалось полной ложью хотя бы потому, что новому поколению, не знавшему советской власти, сегодня внушают еще худшие вещи, чем внушали нам. Возьмите учебник истории. Моя дочь кончала школу в конце брежневского времени. А недавно она прочитала мою статью в The New Times об учебнике истории России с 1945 по 2006 год под редакцией Филиппова со многими из него цитатами и позвонила мне чуть не плача: «Что же это такое? Ведь наш же учебник был много лучше! Там про Сталина ничего такого не было!» Вот куда мы прикатили от брежневского времени!

Поэтому не стоит полагаться на химеры о поколениях, не знавших советской власти, с которыми сама собой придет демократия. Сегодня вновь нужна огромная просветительская работа. А значит, нужен беспрепятственный доступ к широким слоям населения. Именно поэтому я была одной из немногих, кто – вместе с Андреем Смирновым – поддерживал создание легальной либеральной партии. Больше никто из интеллигенции ее, по-моему, не поддержал и не поддерживает. Почему? Потому что – ее любимые слова – «не надо ложиться под Кремль».

Я недавно подписывала свою книгу, детскую книжку на книжной ярмарке, было много желающих получить автограф, но один все-таки просунулся с другой целью: «Зачем вы ложитесь под Кремль»? Я сказала, что с женщиной на таком языке не говорят, и его оттеснили. Но до сих пор жалею, что, вместо того чтобы объясняться, не дала ему сразу по физиономии. Очень жалею.

Игорь КЛЯМКИН:

Большое спасибо, Мариэтта Омаровна, за яркое выступление. Но я сразу же хочу сказать, что если так дело пойдет и дальше, то половина записавшихся выступить не сможет. Я знаю, что вы все убежденные демократы. Демократия — это процедура. Если каждый из вас будет в два раза превышать время выступления, то вы отнимите его у других и тем лишите их права слова. А это не только недемократично, но и нелиберально. Поэтому еще раз настоятельно прошу укладываться в регламент.

Обращаю ваше внимание на сказанное Мариэттой Омаровной по поводу отсутствия у демократической интеллигенции собственного политического лидера. Как в прошлом, так и настоящем. В этом еще одно наше существенное

отличие от Польши и других стран Восточной Европы. В Польше, напомню, на первых президентских выборах противостояли друг другу не выходцы из коммунистической номенклатуры, а представители «Солидарности», к тому времени уже расколовшейся, — Мазовецкий и Валенса. У нас же таких лидеров не было ни в 1980-е годы, ни в 1990-е, ни в 2000-е.

Я имею в виду лидеров, способных привлечь на свою сторону широкие слои населения. Отсутствие же таковых косвенно свидетельствует, по-моему, о политической несамостоятельности российской демократической интеллигенции, ее неспособности к непосредственной политической коммуникации с обществом. Поэтому ей все время нужны были посредники, которых она меняла в зависимости от перемен в общественных настроениях. Сначала она сделала ставку на Горбачева, потом — на Ельцина, потом часть ее пошла за Путиным, а теперь повернулась в сторону Медведева. Она по-прежнему ищет либералов и демократов не в обществе, а в коридорах власти.

Следующий вопрос: можно ли обеспечить контакт с обществом посредством таких партий, как «Правое дело»? Мариэтта Омаровна полагает, что можно. Давайте это обсудим. У меня же на сей счет большие сомнения.

Аналогия между этой партией и творчеством Аверинцева, Гаспарова и других замечательных людей убедительной мне не показалась. Не могу согласиться с тем, что эти люди не были нужны советской власти. Они были нужны ей как символы советской гуманитарной мысли за рубежом. При этом им дозволялось писать все, что они хотели, но – не выходя открыто за предписанные идеологические границы.

«Правое дело» тоже нужно нынешним властям – как символ демократичности существующей в стране политической системы. И она, как и система советская, не может допустить какую-либо деятельность, открыто направленную на ее трансформацию. Речь, разумеется, идет не о литературной деятельности для узкой элитарной аудитории (тут у нас возможностей несопоставимо больше, чем у Гаспарова и Аверинцева), а о деятельности политической, предполагающей постоянный контакт с широкими слоями населения.

В данном случае надежды перехитрить власть, используя эзопов язык или как-то иначе, что удавалось в коммунистические времена отдельным литераторам, вряд ли оправданны. Вряд ли удастся – об этом я уже говорил – перехитрить и избирателей, которым не сообщается, на каких условиях дозволена деятельность партии и какие на эту деятельность наложены ограничения. А если я вижу, что от меня что-то утаивают, то на каком основании утаивающие рассчитывают на мое доверие к ним?

Системная демократическая партия в авторитарной системе – это, по-моему, из области фантазий и иллюзий. Это эксперимент, обреченный на неуспех. Впрочем, как напомнил нам Ежи Помяновский, неуспешные эксперименты

тоже полезны. Иллюзии, воспринимаемые как достижимые цели, разрушаются не словами, а опытом неудач.

Следующий выступающий – Вадим Межуев.

Вадим МЕЖУЕВ:

«Интеллектуал, стремящийся до всего дойти собственным умом и не очень доверяющий традиции, в России не столько правило, сколько исключение»

Я хочу внести некоторые коррективы в полемику. Данное Ричардом Пайпсом и процитированное Ежи Помяновским определение западного интеллектуала как человека, открытого к переменам, мало подходит к русской интеллигенции, на которой действительно лежит главная ответственность за все то, что произошло в России за последние сто лет. Русская интеллигенция — совершенно особое образование, смысл существования которого можно понять лишь в контексте русской истории. В чем же заключается этот смысл?

Сошлюсь на Георгия Федотова — философа русского зарубежья, на его знаменитую статью «Трагедия интеллигенции», в которой, на мой взгляд, дан блестящий анализ интересующего нас явления. Интеллигент в России — не просто ученый, писатель, художник или представитель какой-либо другой интеллектуальной профессии, но прежде всего носитель чужой, преимущественно европейской, культуры в собственной стране. Получив европейское образование и восприняв из Европы ту или иную сумму идей, будь то либеральных, социалистических и даже националистических (национализм — тоже европейская идеология), он затем пытался пересадить эти идеи на русскую почву. Отсюда — два основных качества русской интеллигенции.

Первое качество — идейность. Русский интеллигент не просто человек высокой нравственности и морали (не надо, однако, при этом превращать его в святого), но в первую очередь носитель определенной идеологии, заимствованной, как правило, из западных источников. Иное дело, что, отстаивая свои убеждения, он часто являл собой пример подлинного подвижничества, самопожертвования и героизма. Но, поскольку идеи, за которые он готов был отдать жизнь, были по большей части чужими, заимствованными из-за рубежа, еще одним качеством русской интеллигенции стала беспочвенность, т.е. несовместимость защищаемой ею идеологии с реальным состоянием страны и народа.

Что же явилось конечным результатом деятельности многих поколений дореволюционной интеллигенции? Результатом явилось то, что почва победила идею. Такой финал Федотов и назвал «трагедией интеллигенции». В истории русской интеллигенции он выделял три основных периода: вначале она была

с царем против народа, в эпоху декабризма — против царя и против народа («страшно далеки они от народа»), а начиная с разночинцев и народников — с народом против царя. Вот тут-то она и погибла: народ, получив с помощью интеллигенции свободу, принялся истреблять ее с той же яростью, что и дворян, помещиков и капиталистов. Русская почва оказалась сильнее любых идеологий, поглотив их, или, точнее, переварив на свой лад, придав им характер, прямо противоположный их смыслу — либо «социализма в одной стране», либо «суверенной демократии» с неведомой никому русской спецификой. И здесь самое время разобраться в природе этой почвы, столь неподатливой к любой западной идеологии.

В нашей истории, как я думаю, есть роковой рубеж, через который мы не можем перескочить вот уже триста лет. Он отделяет эпоху домодерна (или традиционного общества) от эпохи модерна. Вот уже триста лет модернизируемся, но никак не можем стать вровень с современными странами. Такое впечатление, что мы – страна перманентной модернизации, которая временами то вспыхивает, то угасает. И каждый раз какая-то неведомая сила отбрасывает нас назад, в наше прошлое. Что же заставляет нас при каждом новом витке модернизации возвращаться к исходному рубежу?

Я думаю, причину надо искать в двух так и не решенных пока основных вопросах русской истории. На них нет ответа ни у либералов, ни у социалистов, поскольку к моменту появления этих идеологий на европейской политической сцене они были уже решены самим ходом европейской истории. Русские интеллигенты вынуждены были искать на них собственные ответы, но, увы, пока все они не дали желаемого результата.

Первый вопрос — крестьянский. Большая часть населения России, даже та, что живет уже в городах, сохраняет прямую связь со своим недавним прошлым — с общинно-патриархальной деревней, с ее крестьянским укладом жизни, сознанием, менталитетом. Переселившись из деревни в город в годы индустриализации страны, многие так и не стали ни гражданами, ни буржуа в точном смысле этого слова. Подобная городская масса, не привыкшая жить в условиях частной собственности и правовых свобод, неспособна ни к какой самоорганизации и постоянно испытывает потребность в сильном властном центре, в твердой руке, способной навести порядок. Она не верит в силу права и общего для всех закона, предпочитая ему право силы. Какая либеральная демократия может прижиться на такой почве?

Второй вопрос – национальный. Проблема не в том, что Россия многонациональная страна, таких стран много. Проблема в том, что каждый народ живет здесь на своей исторической территории, сохраняет связь со своими богами, традициями, языком и культурой. Какая демократия может объединить столь разные народы в одно целое? Существует ли вообще либерально-демократическое решение крестьянского и национального вопросов в том их виде, как они стоят перед Россией? Где и в какой стране подобные вопросы были решены демократическим путем? Ведь демократия — власть не просто любого народа (иначе ее можно было бы легко установить где угодно, в любой точке планеты), а только такого, в котором каждый обладает сознанием и правом личной свободы, т.е. власть граждан. Или демоса, как говорили греки. Но как превратить народ в граждан? И тем более в условиях России?

Я, естественно, не противник демократии, вижу в ней единственно возможный способ существования народа в современной истории, но как она возможна на русской почве? Если власть и большинство народа едины в своем неприятии демократии или просто равнодушны к ее судьбе, то на что в таком случае можно рассчитывать? Вот здесь-то на первый план и выходят интеллектуалы. Для них демократия и свобода — не просто благое пожелание или заимствованная извне идея, но необходимое условие собственной деятельности и социального выживания.

Чтобы перейти к гражданскому обществу и демократии, стать современной страной, Европе, как известно, пришлось пройти через три «двери», отделяющие Новое время от Средневековья. Первая – Возрождение, вторая – Реформация, третья – Просвещение. Россия не прошла ни через одну: у нас не было Возрождения и Реформации, а Просвещение остановилось где-то на полпути, затронув лишь верхний слой российского общества. Все вместе заняло в Европе примерно пятьсот лет. Решающую роль в этом переходе как раз и сыграли те, кого принято называть интеллектуалами. Их следует отличать от мудрецов и пророков древности, вещавших от имени Бога, а также от средневековых богословов и схоластов, бравших на себя функцию интерпретации текстов Священного Писания. Хотя Жак Ле Гофф называет их «средневековыми интеллектуалами», они имели мало общего с интеллектуалами Нового времени, представленными в первую очередь гуманистами эпохи Возрождения, религиозными реформаторами и просветителями. Они и подготовили наступление эпохи разума, эпохи модерна, поставив под вопрос любую идущую из прошлого традицию, сделав предметом рациональной критики понятия и представления, основанные на авторитете Предания или Писания.

В этом, собственно, и состояла функция интеллектуала в Новое время. Он взрывал любую традицию, если та была основана только на вере, а не на разуме. Интеллектуал с этой точки зрения — это человек, способный выдержать испытание свободой, не бегущий от нее под защиту традиции, а принимающий мир таким, каким он открывается его собственному разумению. В этом качестве ему противостоит консерватор, отстаивающий приоритет традиции перед любой новацией. Он интеллектуал лишь в той мере, в какой защищает традицию

посредством рациональных доводов; во всем же остальном он убежденный антирационалист, склонный к догматическому мышлению.

Интеллектуала отличает от консерватора и традиционалиста не отрицание традиции, а критическая рефлексия над ней. Без такой рефлексии нельзя преодолеть тяжесть, инерцию былых времен. Интеллектуал (и здесь прав Пайпс) способен увидеть в реальности не только то, что в ней уже устоялось, стало привычным и обыденным, но и то, что требует пересмотра, дальнейшего изменения и преобразования. И только для таких людей демократия и свобода являются настоятельной жизненной потребностью. Я убежден в том, что утверждение той и другой прямо зависит от наличия в обществе сформированного и достаточно многочисленного класса интеллектуалов.

Между тем в России подавляющее большинство всегда составляли люди с консервативным мышлением, причем не только среди так называемого простого народа, что вполне естественно для крестьянской страны, но и среди политической и культурной элиты общества. Интеллектуал, стремящийся до всего дойти собственным умом, не очень доверяющий традиции, восстающий против нее, в России не столько правило, сколько исключение. Его судьба по большей части трагична — он либо изгой, либо лишний человек, либо просто чудак — человек не от мира сего (вспомним хотя бы судьбу Чаадаева). Во всяком случае, пока интеллектуалы в вышеуказанном смысле не востребованы обществом в качестве безусловных лидеров культурной элиты, нельзя мечтать и о победе демократии.

Сегодня на роль духовного лидера претендует Православная Церковь, поддерживающая существующую власть в ее претензии на ограничение политической свободы. Это еще одно препятствие на пути к демократии и современности. Нельзя забывать, что православие с момента своего зарождения пыталось соединить христианство с идеей Римской империи, тогда как Западная Церковь пошла по пути соединения христианства с идеей Римской республики. Но это тема для особого разговора.

Игорь КЛЯМКИН:

С православием не очень понятно. Православные болгары сегодня в Большой Европе. И греки, и румыны.

Вадим МЕЖУЕВ:

Вы знаете хоть одну православную страну, стоящую во главе экономического прогресса? Народы, исповедующие православие, занимают в современном мире место если не совсем периферии, то полупериферии, но никак не центра.

Игорь КЛЯМКИН:

Речь же шла не об экономическом лидерстве. Речь шла о том, что православие – препятствие на пути к демократии. Пример православных стран, о которых я упомянул, свидетельствует о том, что препятствие это преодолимое. И если у России преодолеть его до сих пор не получается, то, следовательно, дело не в православии. По крайней мере, не только в нем.

Эмиль ПАИН:

Я хотел бы сказать несколько слов по поводу выступления Вадима Межуева. Оно мне очень понравилось, но я с ним совершенно не согласен.

Так получается, что мне в разных аудиториях приходится спорить с двумя противоположными позициями. Во-первых, с той, которая начисто отрицает сопротивление культурной почвы и переоценивает роль творческой интеллигенции, способной якобы перевернуть мир одной лишь своей волей: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» Во-вторых, с той, которая преувеличивает реальную сопротивляемость традиционной культуры в России. В данном случае я хотел бы поспорить именно со вторым из названных подходов, который, как мне кажется, как раз и был представлен уважаемым Вадимом Михайловичем.

Да, Россия весьма специфична и отличается очень сильно от той же Польши. Многое из того, что в Польше получилось, в России заведомо получиться не может. Но при этом и представление об *уникальности* нашей страны вызывает большие сомнения.

Так ли уж уникальна Россия тем, что интеллигенция в ней формировалась как культурно инородная по отношению к основной массе населения? А в какой, интересно, стране элита формировалась иначе? На территории нынешних Франции и Англии кельтская элита сменилась романской, затем германской. В Финляндии долго доминировала шведская элита, а в Чехии, Латвии и Литве – немецкая. В Польше значительная часть идей, которые многие сегодня причисляют к польским, была заимствована — в том числе и у русских интеллектуалов. Элита всегда инородна по отношению к основной части жителей; ничего необычного, а тем более уникального здесь нет.

Далее уважаемый Вадим Михайлович прав, безусловно, в том, что в России, сохранившей черты империи с ее этнически разнородными территориями, формирование единого гражданского общества, единых культурных, да и правовых, норм намного сложнее, чем в этнически более однородных государствах. Но и в этом Россия не уникальна. В Индии – еще более пестрый конгломерат народов и культур. По всем предсказаниям, она давно должна была распасться. Но эта страна, расколотая на этносы, религии и касты, уже шестьдесят лет

развивает демократию. И дай Бог многим европейским странам иметь такую демократию!

Сегодня только и слышишь: «Почва, почва, почва!» Но о чем конкретно идет речь? Термин «культурная почва» – метафора. Помимо культурной почвы есть и другие – почва природная, экономическая... И кто сказал, что главная причина исторического бега России по кругу связана именно с ее особой культурной почвой?

А я вам скажу, что больше вины на другой почве — экономической. Триста лет Россия живет торговлей своими природными ресурсами. Только раньше продавали лес и пеньку, а сейчас — нефть и газ. Когда страна торгует ресурсами, то удерживается ценность империи, потому что при ресурсном государстве имперская территория — главный ресурс. Но кто доказал, что это навечно? Во всяком случае, экономическая почва уж точно будет изменяться...

Евгений ЯСИН:

Навечно ничего не бывает.

Эмиль ПАИН:

Так в том-то и дело! И изменчива не только экономическая почва, но и культурная...

Игорь КЛЯМКИН:

Я думаю, что нечто уникальное России все же свойственно, хотя и не совсем то, по-моему, о чем говорил Вадим Михайлович. Возможно, я скажу об этом в конце дискуссии. А пока – слово Денису Драгунскому.

Денис ДРАГУНСКИЙ (главный редактор журнала «Космополис»): «Нашим демократическим интеллектуалам недостает философской инициативы и умственной отваги»

Получился очень интересный разговор, нужно искренне поблагодарить организаторов встречи. Хочется сказать многое, но я ограничусь темой, обозначенной в названии этого мероприятия, – темой «интеллектуалы и демократия». А в заключение, если минутка останется, расскажу нечто любопытное специально для наших польских товарищей.

Про российских интеллектуалов здесь говорили разные вещи. Но основная проблема, о которой пока не говорилось, видится мне в том, что у нас конечно

же есть интеллектуалы, но нет крепкого сообщества интеллектуалов. Крепкого – значит с определенными границами и с понятной идентичностью, с внутренними ценностями, с характерными для сообщества нормами поведения.

Возможно, именно поэтому и само представление об интеллектуалах у нас не сложилось или сложилось не окончательно. Самоотождествление российских интеллектуалов скорее негативное: «Мы — это те, кто раньше был интеллигенцией». То есть в условиях социалистического тоталитаризма (а раньше в условиях царизма) умные и ответственные люди, регулярно поднимающие голову от корыта и думающие о несъедобных материях, были интеллигентами. А сейчас, в демократических и рыночных средах, настало время профессионалов-интеллектуалов. Тем самым молчаливо подразумевается, что ценностная (в частности, демократическая) составляющая «интеллигентности» отошла на второй план. Мне лично такое молчаливое допущение не нравится. Но оно, увы, существует, и с ним приходится сосуществовать.

Сегодня в России нет не только единого представления об интеллектуалах, но и того безусловного уважения к ним, которое раньше люди питали к интеллигенции. Впрочем, такого уважения нет не только в России.

Недавно мне довелось прочесть интересную книжку, из которой я узнал, что во Франции образованное сословие делится на два лагеря — «специалистов» и «интеллектуалов». Специалисты — это ученые, профессора или научные сотрудники, это историки, химики, медики и прочие исследователи. В общем, люди, которые занимаются делом. А интеллектуалы — это эрудированные господа с хорошо подвешенными языками, которые лихо и занимательно выступают по телевизору на разные актуальные темы. Хотя у них тоже есть ученые степени и звания, статьи и книги — иначе бы их не позвали в телевизор. Но социальное амплуа у них другое. Меня иногда приглашают выступать по телевизору, но мне почему-то ко второй категории себя относить не хочется. Да и, полагаю, никакому специалисту не хочется быть поп-интеллектуалом.

Что касается российских интеллектуалов, то они в отличие от европейских не имеют двух очень важных и уже названных мной вещей — собственного корпоративного интереса и собственных, достаточно ясных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо, как нужно себя вести в различных политических и не только политических ситуациях. Это, наверное, можно объяснить исторически. Вадим Михайлович Межуев говорил, что трудно решать вопросы самоопределения интеллектуалов в России, поскольку еще не решен старый вопрос «интеллигенция и крестьянство», т.е. образованное сословие и народ. Верно, в России до сих пор актуален и этот вопрос, и национальный вопрос невозможно решить...

Вадим МЕЖУЕВ:

Идея с почвой не сочетается...

Денис ДРАГУНСКИЙ:

Не сочетается. Идеи, которые традиционно проповедует русская интеллигенция, трудно бывает приспособить к «почве», т.е. к народным чаяниям. Если же говорить попросту, то наша интеллигенция, наши интеллектуалы некоторым образом вненациональны. Подчеркиваю: именно некоторым образом, поскольку в общем и целом идеи интеллектуалов, разумеется, направлены к национальному благу. Но этот «некоторый образ» нечаянно оказался едва ли не решающей чертой.

В чем тут дело? Мне кажется, что сплочение интеллектуалов может состояться только на национальной основе – разумеется, «в хорошем смысле слова». Речь может идти даже о своего рода национализме – опять-таки в лучшем смысле слова, в смысле борьбы за свободу родины, за национальную независимость, за национальное единство. Короче говоря, за свою страну. Вот сидящие здесь польские товарищи выступали за что? Они выступали за Польшу. За свободную, независимую, демократическую Польшу. Все интеллектуалы Восточной Европы (да и интеллектуалы Индии, например, или иной какойнибудь далекой страны) выступали за что? За национальную независимость и демократию. Национализм и свобода, национализм и права человека, национализм и стремление к цивилизованности шли в одной упряжке. Потому что эти страны освобождались от колониальной зависимости, от имперского гнета, от пребывания в удушающем «поясе сателлитов».

Понятно, что имперское наследие России поставило российским интеллектуалам (как раньше – русским интеллигентам) роковую подножку. В то время как польские интеллигенты боролись за свободное национальное государство под названием Польша, русские интеллигенты выдвигали лозунг «раздробления России по народностям с вольною федеративною связью» (по памяти цитирую Достоевского, роман «Бесы», где писатель цитирует прокламацию Заичневского). Говоря иначе, польские интеллигенты боролись за свое государство (будущее, национальное, демократическое), а русские интеллигенты боролись против своего государства (существующего, имперского, монархического). Но люди обычно не заглядывают внутрь скобок. А без скобок получается: одни за свое государство, другие – против.

Игорь КЛЯМКИН:

Но именно поэтому и российские интеллектуалы в годы перестройки

раскололись на «демократов» и «патриотов». В Польше же в те времена ничего похожего не было. Там был демократический консенсус. И в элитах, и в обществе.

Денис ДРАГУНСКИЙ:

В том-то все и дело, что у нас такого консенсуса не было и нет до сих пор. Более того, население обнаруживает явную предрасположенность к тому, чтобы отдавать предпочтение «патриотам-государственникам». Или, что в данном случае одно и то же, – националистам.

Разумеется, на самом деле наши российские демократические интеллектуалы тоже выступали и выступают за Россию. За то, чтобы в ней было хорошо жить. Они выступают за свободы — гражданские, политические, экономические, а также за высокий жизненный уровень населения. И это куда более важная национальная задача, чем «защита русского народа от инородцев, иноверцев и западных развратителей», что является в лучшем случае изоляционистским мифом, а в худшем — оправданием погромов. Но, увы, именно эта мифопогромная задача и воспринимается массовым сознанием как нечто похожее на стержень национальной консолидации. Может ли стать таким стержнем борьба за демократию и права человека, а тем более за вестернизацию России? Сильно сомневаюсь. Притом что на самом деле демократия и права человека для нашей страны важнее всего.

Однако я говорю не о том, что на самом деле, а о том, как массовое сознание воспринимает демократических интеллектуалов. Негативно оно их воспринимает, как врагов нации. Ну а националистически ориентированные интеллектуалы воспринимаются иначе, хотя это совсем уж несимпатичный народ, это чаще всего ксенофобы и конспирологи, это антисемиты, антизападники, антидемократы. В общем, люди, с которыми совершенно не хочется на одном поле играть в гольф.

Вот вам весьма существенный раскол интеллектуального сообщества, или, если хотите, показатель отсутствия такового вообще. Да, среди националистически ориентированных интеллектуалов, как и среди демократических, достаточно высокообразованных людей, которые много чего читали, написали много умных статей и толстых книг. Однако разногласия по поводу собственной политической идентичности не позволяют вести сколько-нибудь спокойный диалог: разговор сразу скатывается на жесткую полемику. Естественно, в такой ситуации не может идти речь о самоопределении интеллектуала именно как независимого мыслителя. Поэтому, может быть, и получается, что интеллектуалы бывают чрезмерно политизированы.

Мне такая политизация не нравится. Поэтому в споре между Мариэттой Омаровной Чудаковой и Львом Дмитриевичем Гудковым по поводу выборов 1996 года я вынужден принять сторону Льва Дмитриевича. Что такое демократия, каково ее, так сказать, рабочее определение? Все достаточно просто. Демократия считается утвердившейся в той стране, в которой власть два раза сменилась демократическим путем, путем свободных выборов. У нас в России за всю нашу историю такого не было ни разу. Вообще не было такого, чтобы полноценно выбирали себе власть. То престолонаследие, то переворот, то закулисные сговоры, то преемники...

Но в 1996 году России предоставился шанс — первый за всю ее многовековую историю — выбраться из этой колеи. Тогда на выборах побеждал кандидат-коммунист, но ясно было, что уже в 2000 году выберут кандидата от демократов (кстати, возможно, выбрали бы того же Путина). Но вся политическая верхушка и все интеллектуалы тоже были охвачены страхом, что Зюганов тут же отменит выборы, установит тоталитарный режим и начнет составлять расстрельные списки.

Я, глядя тогда на Зюганова и зная, в каком состоянии была в то время Коммунистическая партия, видя вообще слабость российских властных институтов, в этом очень сильно сомневался, как сомневаюсь и сейчас. А еще сильнее я сомневаюсь в политической целесообразности, которая заставила демократических интеллектуалов не поддержать демократический способ смены власти. Та же, кстати, целесообразность — вместо преданности идеям и ценностям демократии — заставила интеллектуалов бегом бежать в начале 2000 года поддерживать ельцинского преемника. Весь цвет российской интеллигенции собрался тогда в «Президент-отеле», где выдвигали (или поддерживали) предложенного Ельциным кандидата, т.е. изображали общественную поддержку закулисному решению. Потом правда, многие разочаровались. Но музыка обратно не играет, и поезд задом не идет. Что получилось, то получилось.

Почему? Потому, повторяю, что целесообразность — якобы ради демократии — возобладала над собственно ценностями демократии, которые, как справедливо заметил Игорь Моисеевич Клямкин, являются ценностями скорее процедурными, чем моральными, а моральные ценности на них нарастают. В итоге все происшедшее, по сути, является провалом демократического проекта. При этом либеральный проект в экономике, в общем-то, победил. Победил он и в жизни. Создался класс мелких буржуа, тупых потребителей, которые любят брать кредиты, ходить в супермаркеты и живут, как и положено, в кредит. Такой класс сформировался.

Но либерализм и демократия — вещи совершенно разные. Кирилл Рогов говорил о расколе интеллектуалов по этому признаку. Совершенно правильно. Это абсолютно банальная ситуация. Точно так же интеллектуалы раскололись в Англии при Тэтчер, а в США при Рейгане. А уж как они раскололись при Пиночете... Страшно подумать, как эти чилийские демократы позволили себе

выступать против либеральных экономических реформ, проводимых в условиях военной диктатуры! Но во всех перечисленных и многих других случаях такой раскол преодолевался на основе демократических ценностей. А у нас он не преодолевается, накладываясь к тому же на другой, более фундаментальный раскол, о котором я уже говорил.

Чего, на мой взгляд, недостает нашим демократическим интеллектуалам? Недостает — это я в полной мере отношу и к себе — свободной мысли, философской инициативы, умственной отваги. А это нужно, чтобы понять, какие проблемы стоят перед страной. Даже чтобы просто перечислить эти проблемы, нужна некоторая интеллектуальная храбрость.

А напоследок хочу рассказать польским товарищам, что в нашей националистической мысли есть замечательная такая область, даже целая тенденция, под названием «Польский проект». Пишутся и публикуются статьи, в которых доказывается, что все, что происходит сейчас в Европе, придумали поляки. Почему? Потому что поляки на самом деле ведущая нация Европы. Почему? Потому что Польша — моноэтническая страна. Не в пример Германии с ее турками, Франции с ее арабами, Британии с ее пакистанцами, Испании с ее басками. Но поляки не только моноэтничны, они еще моноконфессиональны и вдобавок очень верующие. Поляки — это великие реваншисты. Они проникли в НАТО для того, чтобы НАТО пригнуть под Польшу. Зачем? Затем, чтобы восстановить Польшу от моря и до моря и наконец-то прижать Россию, как во времена великого княжества Литовского. Вот что готовит нам Польша!

Полагаю, что присутствующие здесь «польские товарищи» сумеют оценить этот изыск российских националистически ориентированных интеллектуалов.

Адам МИХНИК:

Очень даже интересно. Когда я участвовал в Лондоне в дебатах на тему «Взаимоотношения между поляками и евреями», то подумал, что есть какая-то асимметрия. Потому что я видел много поляков, которые ненавидели евреев. Видел много евреев, которые ненавидели поляков. Но я не видел ни одного еврея, который бы думал, что в польских руках власть над миром. Если не любишь, то так высоко объект нелюбви возносить не будешь. А теперь я знаю, что может быть и такое, но не у евреев, а у русских...

Игорь КЛЯМКИН:

Надеюсь, что эта информация еще больше укрепит Адама в его русофильстве. Я предоставляю слово Ирине Ясиной.

Ирина ЯСИНА:

«Наша интеллектуальная "элита" скорее негативна, чем позитивна»

Во-первых, огромное всем спасибо за прекрасную дискуссию. Я получила максимальное удовлетворение. И не только потому, что я полонист по образованию и, когда Эдмунд Внук-Липинский говорил по-польски, я была счастлива абсолютно. Главное, что разговор получился очень содержательный и глубокий.

Естественно, что я буду говорить о России, причем не вчерашней, о которой говорили многие передо мной, а о России завтрашней. Меня больше всего заинтересовало то, что, как заметил Кшиштоф Занусси, новое поколение поляков уже менее прагматичное, чем поколения старшие. Что оно способно воспринять какие-то абстрактные либеральные идеи. Пока что в России я таких людей среди молодежи не вижу, хотя общаюсь с ней достаточно много. И это меня очень пугает. Ребята, которым сейчас двадцать — двадцать пять, никоим образом не пережили, не отрефлексировали происходившее и происходящее в стране, не попытались что-то осмыслить, а их родители и учителя их на такую интеллектуальную работу не стимулировали.

Дело не в телевидении, которое задурило всем голову. Эти молодые люди телевизор не включают, газет, как и книжек, не читают. Они общаются друг с другом, сидят в Интернете, тусуются, но общественные вопросы их не волнуют. И именно в этой связи я хочу коснуться роли элиты. «Элита» – это, вообще-то, животноводческий термин. Что касается нашей интеллектуальной «элиты», то она у нас скорее негативна, чем позитивна. Абсолютно правильно было сказано польской стороной, что интеллектуал должен вступать в политику или в политическую дискуссию тогда, когда разговор начинает идти о морали и нравственности, никак не раньше. Потому что до тех пор политика – это вопрос налогов. Но наша «элита» о морали и нравственности говорит постоянно, однако преобладающая ее часть понимает это иначе, чем мы.

Представители этой «элиты» считают, что морально быть патриотом. А для людей моего круга само слово «патриот» звучит как ругательное. Потому что у нас патриоты — это такие заединщики, которые хотят любить Россию, закрывая глаза на ее недостатки. А мы в меньшинстве, мы не кричим истошным голосом: «Ах, я люблю Россию, и уже поэтому мне все, что ни делаю, должно прощаться». Про это лучше всех, на мой взгляд, сказал Виктор Шендерович: «Как только человек начинает громко кричать про патриотизм, проверьте его карманы». Это, я думаю, вам в Польше тоже знакомо. Такая славянская, наверное, черта. Мы же пытаемся что-то изменить, усматривая патриотизм именно в этом. Но наше его понимание живого и заинтересованного отклика в обществе сегодня не находит.

Я не знаю, каким образом передать молодым людям, нашим детям это

ощущение свободы, ощущение истинного, чаадаевского патриотизма. Не вижу возможностей. В том числе и потому, что в России такая «элита». На днях прочитала, что Игорь Бутман, замечательный саксофонист, написал заявление о вступлении в «Единую Россию». Зачем? Для чего? Когда в сталинские времена люди что-то подписывали, можно было предположить, что они хотели избежать концлагеря и уберечь от него свои семьи. А сейчас-то в чем дело? Вы же не Ходорковский, господин Бутман! Вас в тюрьму не посадят. Зачем вы проситесь в «Единую Россию»?

Из зала:

Чтобы там развивать демократию...

Ирина ЯСИНА:

Порой, впрочем, кажется, что что-то начинает меняться. Недавно наша общественность собирала подписи под письмом за освобождение Светланы Бахминой. Точнее, за милосердие по отношению к ней. Вы, возможно, и в Польше о ней слышали. Это женщина с двумя детишками, которая сидит, беременная, в зоне по делу Ходорковского. Берусь утверждать, что никакой вины за ней нет. Ее посадили потому, что ее начальник успел уехать за границу, а ее просто взяли в заложники. Начальник, конечно, не вернулся, не дурак же. А она сейчас родила уже девочку, но по-прежнему остается осужденной. И многие люди подписали письмо в ее защиту. В том числе и большое количество народных кумиров – артистов и режиссеров. На моей памяти такое за последние годы впервые, и это в какой-то степени обнадеживает.

Реакции властей, естественно, не последовало. И я постоянно слышу вопрос: «А зачем вообще это все подписывать? Какое это имеет значение?» Я пыталась объяснять, что обязательно надо, потому что это ведь первый раз, когда такие имена зазвучали в общественном деле, хотя оно, вообще-то, не общественное, оно исключительно нравственное и моральное. Но это как раз тот случай, когда интеллектуал, актер, режиссер, художник, писатель, совершая определенный этический поступок, может повлиять и на политическую атмосферу в стране.

Но в России это пока не более чем призыв к милосердию, обращенный к властям, которые милосердием не обладают. Наши власти путают слова «милосердие» и «слабость». Как любые слабые мужчины, они не понимают, что милосерден только сильный, потому что слабый все время боится таковым показаться. Он полагает, что покажет свои мускулы, и все подумают, что он сильный. Наши власти не понимают, что, держа в заключении эту бедную

женщину, они расписываются в своей трусости. Но, к сожалению, большинство нашего общества не понимает тоже. В его глазах это не трусость, а проявление уверенности и силы. Молодежь же такие вещи не интересуют и не волнуют вообще.

Я, повторяю, не знаю, как донести до молодых людей понимание важности милосердия, без чего не может быть того этического гражданского общества, о котором говорил пан Внук-Липинский и которого нам так не достает. Если вы знаете, как это сделать, — я обращаюсь к польским коллегам, — расскажите. Я слышу от вас: «Польская интеллигентная молодежь испугалась Качинских и пошла на выборы». Но наша молодежь никого не боится и на выборы не ходит. Путин или кто-то другой — ей совершенно все равно. Над Медведевым она смеется. Пока смеется.

И все это очень тревожно, потому что неизвестно, чем кончится. В стране сейчас экономический кризис, который будет продолжаться долго. Я спрашиваю ректора одного из высших учебных заведений: «А куда пойдут твои выпускники в 2009 году?» Он отвечает: «Никуда. На биржу труда». Но я знаю, что они на биржу труда не пойдут.

У всех этих выпускников экономических и юридических факультетов нимб на голове и крылья за спиной. Они нацелены на успех, который последними восьмью тучными годами таким, как они, был гарантирован. Они уверены в том, что так будет и дальше, а кризис их не коснется. Но он их коснется. И как они будут на это реагировать? Как направить их недовольство, их разочарование жизнью, которое неминуемо настанет, в некое, если угодно, созидательное русло? Как сделать, чтобы у них появилось желание стать гражданами, изменить жизнь в стране, а не желание обозлиться, запить, забить на все, как они выражаются?

Заканчиваю вопросом, а не ответом. Ответа у меня пока нет.

Эдмунд ВНУК-ЛИПИНСКИЙ:

Молодые и образованные поляки пошли голосовать против Качинских после двух лет их правления, потому что это было невыносимо эстетически...

Ирина ЯСИНА:

Значит, у польской молодежи развитый эстетический вкус. Можно только позавидовать.

Игорь КЛЯМКИН:

Все это вроде бы подтверждает мнение Вадима Межуева насчет отсутствия «почвы» для либеральных и демократических идей в России...

Эмиль ПАИН:

Она отсутствует, пока в нашей почве есть нефть и газ. Да и то лишь при высоких мировых ценах на них.

Евгений ЯСИН:

Сейчас эти цены падают, углубляется экономический кризис. Но как отреагирует на это наша культурная «почва», станет ли она более восприимчивой к нашим идеям?

Игорь КЛЯМКИН:

Возможно, нам поможет приблизиться к ответу Алла Гербер, которая давно уже просит слова. Между прочим — это я польских коллег информирую, — Алла Ефремовна является членом Общественной палаты Российской Федерации. Эта структура представляет в России гражданское общество, являясь своего рода промежуточной инстанцией между ним и государством. В Общественную палату входят многие представители российской интеллигенции, в том числе и ее либерального крыла. Пожалуйста, Алла Ефремовна.

Алла ГЕРБЕР (президент фонда «Холокост», член Общественной палаты):

«Вспоминая Твардовского с его "что-то надо делать, делать чтото надо", я решилась идти в Общественную палату»

У меня недавно был очень серьезный спор с автором фильма «Бумажный солдат», с Алексеем Германом-младшим, который в Каннах получил приз за лучшую режиссуру. Она и в самом деле замечательная, а что касается смысла этого фильма, то я думаю, что в Каннах его вряд ли поняли. О нем, о смысле, и был наш спор с Алексеем.

Что хотел он сказать своей картиной? Он хотел сказать, что те самые годы, о которых мы так много говорили сегодня в начале нашего обсуждения, годы, когда мы захлебывались «подушечным чтением» книжек самиздата (порой их давали всего на одну ночь), когда пели песни Окуджавы и Высоцкого, когда устраивали уличные выставки картин, которые тайно и не тайно вывозили из Москвы в другие города, — что все это было с нашей стороны войной, ведущейся «бумажным солдатом». Что ничего мы в жизни, в которой на самом деле все было жестоко, страшно и грязно, не изменили и изменить не могли. Таков взгляд на нас сегодняшнего молодого человека, на который, разумеется, он имеет полное право.

Он имеет на это право, потому что пытается, но не может получит ответ на вопрос: «А чего вы, собственно, добились?» И я вслед за ним тоже начинаю думать: действительно, а чего мы все же добились?

Наверное, не очень многого. Но кое-что нам все же удалось. Я вспоминаю то время, Алексей его не помнит, он был еще слишком молод, когда мы добились того, что в стране появились первые росточки гражданского общества. Когда в 1989 году съезд Союза кинематографистов свергнул прежнее руководство Союза, весь его старый генералитет и избрал совершенно других людей – это была наша победа. И мы все тогда были счастливы.

«Ну и что? И ради чего?» – усмехаются сегодняшние молодые люди. Они весьма скептически относятся к этим нашим, но не их победам. Может быть, потому, что собственных гражданских побед у них еще не было.

Хорошо помню и то, как шестьсот пятьдесят человек вышли из Союза писателей и стали членами независимого движения писателей «Апрель». Это было тоже в годы перестройки. И мы ездили во все горячие точки, писали об освобождении Гавела, о возвращении Галича. Очень много «Апрель» по тем временам сделал.

Помню и наши демонстрации, на которые собирались десятки, а порой и сотни тысяч людей. Среди них были и те, кто сегодня подписался под письмом в защиту Светланы Бахминой. А тогда они шли на митинги и демонстрации в защиту демократии. Там можно было увидеть театр «Современник» в полном составе, всех актеров «Таганки»... Это было наше гражданское общество, которое мы сами создавали. «Ну и где вы сейчас?» — спрашивают меня те, кто в силу возраста этого всего не пережил. А я упорно и тупо, может быть, даже амбициозно повторяю: «Мы были и есть!»

Игорь Моисеевич Клямкин упомянул об Общественной палате. Я очень долго думала, прежде чем приняла предложение войти в нее. Мы обсуждали это с Евгением Григорьевичем Ясиным, который тоже получил такое предложение и принял его. И знаете, что помогло мне принять такое же решение? Мне помогли воспоминания о «Новом мире» Твардовского.

Многие из присутствующих в этом зале наверняка не забыли, чем был этот журнал для нашего общества. Как журналист, я тогда очень много ездила по стране, и меня везде спрашивали: «Что нового в "Новом мире"? Как Твардовский? Держится?» Этим жила тогда не только столичная, но и провинциальная интеллигенция. «Новый мир» — это ведь тоже был росток гражданского общества, появившийся еще в доперестроечные времена. И это пример того, как такие ростки могут возникать и при самых неблагоприятных для этого обстоятельствах. Были бы люди, в этом заинтересованные.

Так вот, я очень хорошо помню, как была однажды в редакции «Нового мира», и мы, как всегда, пили там чай с сушками, и Твардовский, который

в очередной раз не мог добиться разрешения на публикацию (речь шла о произведении Владимова), все время повторял: «Что-то надо делать, делать что-то надо». Чай он не пил, но выпил две рюмки водки, после чего поднялся: «Ну, я пошел». Мы знали, что это значило. Он пошел биться. Пошел в эти чертовы кабинеты, которые и презирал, и ненавидел. А потом на страницах журнала появлялось все то, что читала и чем жила наша интеллигенция. И я спрашиваю себя и вас: правильный это был путь или нет? Неужели и здесь уместно это сакраментальное «чего добились?»

Я же, думая о том, что «надо что-то делать, делать что-то надо», решилась идти в Общественную палату. И об этом не жалею. Если из Общественной палаты могли выйти письма в защиту той же Бахминой, в защиту Алексаняна и Ходорковского, то это лучше чем ничего: наш голос в России слышен. Я очень много езжу по стране и знаю это не понаслышке.

Должна сказать вам, что, когда я возвращаюсь из регионов, у меня замечательное настроение. Такое идиотически замечательное настроение, которое кажется смешным таким скептически и даже достаточно цинично настроенным людям, как некоторые мои собеседники. В том числе и Алеша Герман.

В нашей провинции замечательная интеллигенция. Она есть в школах, есть в музеях и библиотеках. И она ждет, чтобы с ней «нормально» говорили. Такой «нормальный» разговор сумел организовать в свое время Михаил Ходорковский – я имею в виду созданную им «Открытую Россию». Многие интеллектуалы ездили тогда от «Открытой России» в регионы, некоторых из них я вижу и в этом зале. И местная интеллигенция (прежде всего она) приходила вас слушать, вы же это хорошо помните. И я думаю, что только так, только посредством просвещения мы можем содействовать развитию в России гражданского общества.

Да, мы не прошли Возрождение, не прошли Реформацию, но Просвещение нас не миновало, и оно всегда было прерогативой русской интеллигенции. И сейчас в стране очень много людей, которые хотят ее слушать и способны услышать. Разумеется, когда нам есть что сказать, и когда мы говорим искренне. Очень комфортно, конечно, утешать себя разговорами о неподатливой «почве», будто бы невосприимчивой к нашему голосу. Но это не нас слушать не хотят. Это мы не слышим идущий из общества запрос на наше слово.

Я очень благодарна организаторам сегодняшней встречи. В том числе и потому, что наши польские друзья приехали к нам, уже имея за плечами впечатляющие результаты своей просветительской деятельности. И мы должны сделать все, чтобы российское общество нас услышало, как услышало наших польских коллег общество польское. Есть же и у нас какие-то обязанности перед нашими собственными убеждениями, перед книгами, которые мы прочли, перед поступками, которые в жизни совершили. И не только перед собой есть у нас долг, но и перед теми людьми, которые, я уверена, нас ждут.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Алла Ефремовна. Вы, вслед за Мариэттой Омаровной Чудаковой, подняли интересный вопрос — о том, что значит наследовать в наши дни отечественную традицию легального отстаиванияи либеральных и демократических ценностей в недемократической системе. Сегодня мы узнали, что Мариэтта Омаровна считает себя продолжателем дела Аверинцева и Гаспарова, а вы — дела Твардовского. Хочется верить, что все, что вы рассчитываете осуществить, у вас получится. Хотя не могу не отметить, что в контактах с молодежью вы испытываете, похоже, те же трудности, что и Ирина Ясина.

А теперь — слово Славомиру Поповскому, члену правления фонда «Прессцентр для стран Центральной и Восточной Европы», возглавляемого известным польским журналистом и общественным деятелем Стефаном Братковским. Он приложил много усилий к тому, чтобы наша сегодняшняя встреча состоялась, но сам из-за болезни приехать в Москву не смог. Славомир, вам слово.

Славомир ПОПОВСКИЙ (польский журналист-международник, член правления фонда «Пресс-центр для стран Центральной и Восточной Европы»):

«Польская интеллектуальная среда сегодня так же расколота, как и российская»

Да, я представляю Фонд Стефана Братковского – прекрасного человека и большого романтика, который верит, что разум и совесть интеллектуалов способны изменять мир. И я тоже в это верю.

Эмиль Паин сказал, что из-за экономического кризиса Россия может двинуться в сторону новой перестройки и что нужно к этому готовиться. Чтобы не получилось так, что в нужное время в головах и на письменных столах никаких проработанных сценариев преобразований опять не окажется. С этим трудно не согласиться, но я бы не преуменьшал и значение того, что в данном отношении сделано и делается российскими либеральными интеллектуалами. Есть сайт «Либеральной миссии», есть другие замечательные российские сайты, о которых я постоянно говорю своим друзьям, чтобы они посмотрели, что и как можно делать. То, что вы делаете, это просто чудо, этому можно только позавидовать И очень жаль, что польские интеллектуалы довольно редко на эти сайты заходят.

Мое впечатление от нашего сегодняшнего разговора такое, что польские и российские интеллигенты очень друг на друга похожи. Мы не так уж далеко разошлись, как некоторым кажется. Мы близки уже в том, что польская интеллектуальная среда (и, соответственно, польское общество) сегодня так же расколота, как и ваша.

Возьмем хотя бы этот ужасный польский эксперимент братьев Качинских под названием «Четвертая Речь Посполитая», о котором много говорили мои коллеги. Это и в самом деле малоэстетичный проект. Но его ведь тоже создавала интеллигенция! Речь вовсе не о том, что политики использовали ее в своих целях. Речь о том, что у истоков этого проекта стояли польские профессора.

Польская интеллектуальная среда сегодня разделена на две части: есть так называемый салон и есть «антисалон». К «салону» принадлежит Адам Михник и все те, кто ориентируется на универсальные европейские ценности и мыслит в соответствии с ними. А в «антисалоне» мы видим радикальных националистов, которые...

Адам МИХНИК:

Это просто антикоммунисты с большевистским лицом.

Славомир ПОПОВСКИЙ:

Согласен. Но они существуют неслучайно, у них есть корни в польском обществе. Адам Михник говорил, что у нас был период, условно говоря, польского путинизма. Действительно был. Сопротивление, которое оказала этому польская молодежь и широкие слои польской интеллигенции, оказалось успешным. Их упрекали в использовании против оппонентов неприятного солженицынского термина «образованщина», что по-польски звучит как *«векс-таучухе»*. Но это слово вполне соответствовало интеллектуальному уровню тех, против кого было направлено. И вот осенью 2007 года на парламентских выборах произошел замечательный поворот от «векстаучухов», благодаря которому мы сейчас живем чуть-чуть в другой Польше. Подчеркиваю: чуть-чуть.

Возвращаясь же к призыву Эмиля Паина (об этом говорил и Игорь Клямкин) относительно разработки проектов изменений, хочу заметить, что дискуссии, наблюдаемые мной в России, все еще слишком идеологически перегружены.

Очень много споров о базовых понятиях – таких, как свобода, демократия, гражданское общество. Не думаю, что эти затянувшиеся споры, которые ведутся и в Польше, можно считать продуктивными.

На мой взгляд, гораздо плодотворнее тот подход, инициатором которого выступил в свое время именно Стефан Братковский, организовавший в конце 1970-х — начале 1980-х годов сообщество интеллектуалов под названием «Опыт и будущее». В нем были собраны разные люди, которые готовили и обсуждали доклады по тем или иным сугубо конкретным проблемам, стоявшим тогда перед страной. И это было очень интересно, там создавался серьезный интеллектуальный задел для будущего. А во время «Четвертой Речи

Посполитой» Братковский попытался воссоздать это сообщество, членом которого, насколько знаю, является и присутствующий здесь профессор Внук-Липинский.

Мы подготовили и обсудили несколько докладов. В частности, доклад о польской внешней политике, что в то время, учитывая довольно авантюрный внешнеполитический курс Качинских, было крайне актуально. При этом доклады готовили группы из нескольких человек, каждый из которых писал свою часть. Я, например, вместе с бывшим министром иностранных дел Мюллером готовил раздел относительно восточной политики Польши. Был еще доклад «Состояние польской демократии», были и другие. И все это было абсолютно без идеологии, без политизации, все было очень конкретно.

Мне кажется, вместо всех этих идеологических споров, которым предается и польская, и российская интеллигенция, стоило бы подумать об организации нормальной экспертной работы. Почему бы вам не разработать, к примеру, проект реформирования российских судов? Полагаю, что такой проект мог бы быть востребованным...

Игорь КЛЯМКИН:

Наш президент уже поставил вопросы и о реформировании судов, и о борьбе с коррупцией, и о многом другом. Есть и соответствующие проекты. Но реальным реформированием и реальной борьбой их реализация не сопровождается. И я не думаю, что у властей есть запрос на какие-то альтернативные проекты.

Славомир ПОПОВСКИЙ:

Но мы же говорим о заделе на будущее. Такие проекты могут быть востребованы завтра, если Россия снова встанет на путь перемен.

Игорь КЛЯМКИН:

С этим я согласен. Глеб Иванович Мусихин правильно, по-моему, говорил, что наша интеллектуальная демократическая общественность реагирует лишь на то, что идет сверху. Предлагает, скажем, Кремль программу противодействия коррупции, и либеральные эксперты обрушиваются на нее с уничтожающей критикой. Эта программа, конечно, того заслуживает. Но альтернативного проекта антикоррупционных законопроектов как не было, так и нет.

Продолжим нашу дискуссию. Слово – Дмитрию Бабичу.

Дмитрий БАБИЧ (главный редактор журнала Russia Profile): «В России, в отличие от Польши, демократия не состоялась, потому что общественное мнение в ней склонно примиряться с любой властью и ее действиями»

Я хотел бы все-таки вернуться к главному вопросу, который поставил Игорь Клямкин: «Почему в Польше демократия состоялась, а у нас нет?» Правда, и некоторые польские коллеги сетовали на то, что в их стране наблюдается нечто похожее на «путинизм». Но мне это кажется натяжкой.

Раньше я тоже склонен был искать сходство между политическими процессами в наших странах. Несколько лет назад, когда в Польше находилась у власти бывшая Коммунистическая партия, преобразовавшаяся в Социалистическую, я, помню, говорил своему другу, польскому журналисту: «Согласись, это же точно такая партия власти, как и у нас». А он отвечал: «Да, но, когда она проиграет выборы, она станет оппозиционной партией. А у вас, если Путин скажет завтра, что "Единая Россия" ему не нравится, то она прекратит свое существование. Такое, если вспомнить судьбу партии "Наш дом – Россия", у вас уже случалось».

Игорь КЛЯМКИН:

Наша партия власти не может проиграть выборы, не может допустить, чтобы к власти пришла оппозиция. Она не может допустить даже само существование сильной оппозиции. А в Польше ни одной партии таким властным монополистом стать не удалось. И партия братьев Качинских, как напомнили нам польские коллеги, последние выборы проиграла, превратившись из правящей в оппозиционную. Какой же это «путинизм»?

Дмитрий БАБИЧ:

Думаю, что и наши гости из Польши с этим спорить не будут...

Адам МИХНИК:

Не будем. Я говорил лишь о том, что в методах правления Качинских есть то, что можно считать «путинизмом».

Дмитрий БАБИЧ:

Как бы то ни было, в Польше налицо институциональная (т.е. основанная

на институтах) плюралистическая демократия, а в России таковой нет. Почему же в Польше этого удалось добиться, а в России не удалось?

Причину я вижу в том, что между российским и польским обществом, при всем их сходстве, есть существенное различие. В Польше очень сильное, если хотите, негибкое общественное мнение. А в России оно слабое и гибкое. Между прочим, это преимущество не всегда оборачивается благом для Польши. Ведь и партия «Право и справедливость» братьев Качинских тоже не только опирается на сильное общественное мнение, но и зависит от него. Зависит от людей с железобетонными католическими убеждениями, с консервативным взглядом на жизнь. Но, с другой стороны, сила общественного мнения не позволила польским политикам отступать от демократических принципов. И некоторые способы проведения экономических реформ, использовавшиеся в России, в Польше именно поэтому были невозможны тоже.

В свое время я спрашивал у председателя польского Центрального банка: «Как вы решили проблему денежного навеса?», т.е. накоплений, сделанных населением в коммунистический период. Спрашивал, помня о том, как эта проблема была решена в России. В России деньги фактически забрали — во имя реформ. В Польше ничего подобного быть не могло. А у нас, когда в суде вкладчики Сбербанка спросили: «Что это было?», Сергей Дубинин ответил: «Это была жертва, принесенная реформам». На что вкладчики ему сказали: «Но почему вы себя не принесли в жертву реформам? Почему вы потребовали ее от других?» В ответ прозвучало что-то маловразумительное, но, при слабом общественном мнении и, соответственно, при слабой зависимости от него властей, все это никакой роли не играло. В России общественное мнение склонно примиряться с любой властью и ее действиями. В этом и заключается его гибкость. Приходит новый начальник с новой идеологией, и общественное мнение очень быстро под него подстраивается, даже если он покушается на интересы миллионов людей.

Не избежала этого и российская интеллигенция. Ведь она не так уж и далека от народа. И в России, и в Польше, и в любой другой стране его основные особенности сказываются и на поведении интеллигенции. Так что не вижу ничего удивительного в том, что в Польше она могла устроить бойкот государственного телевидения, а в России такое невозможно себе даже представить.

Но и в Польше получилось не все, и об этом здесь уже говорилось. Во-первых, не получилось с культурой – в том смысле, что произошел культурный спад, заметный в Польше не меньше, чем у нас. Когда-то Писарев поставил вопрос: «Что нужнее – сапоги или Шекспир?» Современная эпоха дала ответ: «Сапожки». Нужны сапожки от «Гуччи», хорошей фирмы. Не кирзовые сапоги, а сапожки, которые важнее, чем Шекспир, Шиллер и все прочее. В обеих наших странах интеллектуалы понимают, что если современной демократии не нужен

Шиллер, то проблема не в Шиллере, а в современной демократии, которой он не нужен. Однако польские интеллектуалы не видят здесь оснований для того, чтобы от нее отказываться, между тем как в России есть и такие, которые во имя Шиллера готовы ею пожертвовать. Правда, они не удосуживаются объяснять, почему при отсутствии демократии спрос на Шиллера должен возрасти.

Помимо культурного спада Польшу и Россию сближает национализм. Именно он стал той почвой, на которой в России произрос «путинизм», а в Польше возник проект «Четвертой Речи Посполитой».

У нас власть сейчас откровенно заигрывает с националистами, хотя и не со всеми. Она не заигрывает с антисемитами (ну, кроме, может быть, Дугина и кого-то еще), но заигрывает с антикавказским синдромом. Она выделяет те нации, которые по развитию стоят якобы ниже русских, а потому по отношению к ним допустимо быть ксенофобом. Но ведь и в Польше, насколько знаю, наблюдалось что-то похожее, причем при попустительстве и даже участии интеллигенции.

В 1990-е годы, когда жизнь в стране была очень тяжелой, я наблюдал за польской прессой. Она очень чутко улавливала доминировавшее тогда представление о том, что евреев или немцев ругать неприлично, а русских — можно. Не потому что русские плохие, а потому, что у них авторитарный режим, у них никогда не было демократии, они всегда были загражением, т.е. угрозой для Польши. И у меня сложилось впечатление, что часть интеллигенции решила: «Ладно, позволим. Народу тяжело живется — надо дать ему отдушину». И к чему это привело? Качинские, которые начинали как русофобы, придя к власти, стали ругать не только русских, но и немцев. Потому что такова логика ксенофобии: если русских можно, то почему нельзя немцев? Мы помним эти выступления обоих Качинских — и Леха, и Ярослава, которые привели к тому, что в Германии снизился авторитет Польши, упало доверие к ней.

Конечно, в Польше ксенофобия не принимает таких драматичных форм, как в России: нет убийств на улицах, нет и бытовой русофобии. Если вы поедете в Польшу, то в автобусе, в банке – где угодно к вам будут относиться прекрасно. Но уступка ксенофобии все же имела место, и она, мне кажется, в какой-то момент дала крайне отрицательные результаты.

В заключение хочу повторить, что в Польше в отличие от России институциональная демократия состоялась. Здесь нам есть чему учиться. И прежде всего учиться тому, что демократия предполагает не только стремление к политическим победам, но и готовность к поражениям.

Напомню российским коллегам, что в 1993 году польские коммунисты, переименовавшись в социалистов, вернулись к власти. И им позволили это сделать. Их победа на выборах не воспринималась как трагедия. В России же в 1996 году КПРФ и ее лидеру сделать этого не позволили. Тут есть, конечно, вина самой КПРФ, которая не преобразовала себя в социал-демократическую

партию, как партия Квасневского. Но есть и вина общества, которое не смогло переступить через своего рода футбольную психологию: пусть победит моя команда во что бы то ни стало и любой ценой.

В результате же польская демократия стала фактом, а российская все еще остается недостигнутой целью. Будем надеяться, что она достижима в принципе.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Дмитрий. Алла Ефремовна, вы что-то хотели сказать?

Алла ГЕРБЕР:

Да, я хочу сразу отреагировать на тезис о «культурном спаде». Это, по-моему, однобокий взгляд. Когда мне говорят о гибели российской культуры, я обычно начинаю спрашивать:

- Такие-то замечательные фильмы вы видели?
- Нет. не видели.
- Такие-то книги замечательных новых писателей вы читали?
- Нет, не читали.
- На таких-то выставках таких-то художников были?
- Не были

В нашей культуре происходят очень интересные процессы. Есть литература, кино, живопись, есть старые и новые театры, есть артхаусное кино и артхаусный спектакли... Наверное, эти замечательные книги, которые получают «Букеры», масса не читает, но она ведь никогда такую литературу не читала. И на Тарковского валом не валили, и на интеллектуальные спектакли Эфроса массового нашествия не было. Всем этим интересовалась опять же только интеллигенция.

Да, в культуре происходят сложные процессы. Да, многое из того, о чем поведал нам Кшиштоф Занусси, характерно и для России. Но не нужно говорить, что культура погибла. Это не так.

Игорь КЛЯМКИН:

Виктор Шейнис, насколько могу себе представить, о культуре говорить не будет. Он из тех российских интеллектуалов, которые еще во времена перестройки ушли в политику. Виктор Леонидович пробыл в ней много лет, был депутатом нескольких созывов Государственной Думы. Мне лично очень интересно, что он скажет по обсуждаемой сегодня теме. Пожалуйста, Виктор Леонидович.

Виктор ШЕЙНИС (главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, профессор Государственного университета — Высшей школы экономики):

«Одна из причин поражения в России демократии заключается в том, что в кругах демократической интеллигенции, пришедшей в свое время в политику, оказалось очень мало реалистов»

Я рискую вызвать на себя огонь и высказать некоторые суждения, в кругах демократической интеллигенции не очень популярные. Мой давний друг Сергей Адамович Ковалев попытался жестко противопоставить политический идеализм политическому реализму, усмотрев в последнем чуть ли не главную причину наших неудач. И во многих других выступлениях звучало то же самое: политический идеализм — это хорошо, это соответствует нормам морали и нравственности, а политический реализм — это если и не совсем плохо, то уж, во всяком случае, менее достойно. Я же хочу выступить в защиту политического реализма и против закрепления за идеализмом статуса высшего эталона в политике.

Не хочу сказать, что только политический реализм и необходим, а политический идеализм в том смысле, в каком он был здесь представлен, заведомо вреден. Отнюдь. Как гласил один детский стишок: «Мамы всякие нужны». Интеллигенты в политике тоже, наверное, нужны всякие: и идеалисты, даже отрывающиеся несколько от грешной земли, и реалисты, к которым я отнюдь не отношу, разумеется, бессовестных себялюбивых карьеристов. Но я думаю, что трагедия России, трагедия перестройки и постперестройки, не решивших задачи, которые объективно стояли перед страной, и наступивший затем откат в значительной мере были связаны с тем, что среди демократической интеллигенции, пришедшей в политику, оказалось очень мало реалистов.

Я говорю это, помня о том, что интеллигенция всегда составляет в обществе меньшинство и что в ее составе людей общественно ангажированных (и реалистов, и идеалистов) — малая толика, всего несколько процентов. Но социальная роль этой группы, особенно в периоды революционных и контрреволюционных потрясений, намного превосходит ее численность. И от того, насколько она соответствует в такие времена стоящим перед той или иной страной историческим задачам, зависит очень многое.

В идеале роль, с которой интеллигенции далеко не всегда удается достойно справиться, заключается в том, чтобы соединить две разные, но равно необходимые обществу вещи – ценности и интересы. Об этом сегодня говорил Вадим Межуев, с которым я соглашаюсь не всегда, но его мысль о том, что интеллигенты (=идеалисты) в сегодняшней России, как и в начале XX века, оказались не ко двору, мне очень импонирует. Но почему это произошло? Правомерно ли

винить в этом исключительно саму интеллигенцию (за ее «беспочвенность»), как делали авторы знаменитых «Вех»? Думаю, что такое обвинение содержит в себе только часть правды, а взятое вне исторического контекста, оно может искажать реальность и вести к сомнительным выводам. Ведь говорить только это — значит поощрять, с одной стороны, любимое занятие рефлектирующих интеллигентов — мазохистское самоистязание, а с другой — плебейский антиинтеллектуализм.

Вадим Межуев прав: демократия — власть не любого народа, но народа, прошедшего Возрождение, Реформацию и Просвещение и ставшего сообществом граждан. В том, что демократия не прижилась пока в России, «народ» повинен ничуть не меньше интеллигенции. Скажу грубо: игнорирование данного обстоятельства — это доставшиеся нам по наследству слезы «кающихся дворян» XIX столетия. Но и выяснять, кто виновен больше, а кто меньше, занятие не самое достойное и продуктивное. Это лишь затушевывает реальную проблему. А она, повторю, заключается в том, каким образом сомкнуть ценности и интересы, т.е. воззрения тех интеллигентов, которые сознают императивы прогресса, с движением масс, без которого не взломать скорлупу реакционного строя. Эта проблема в конце XX века стояла в России не менее остро, чем в его начале.

В данной связи мне вспоминается один характерный эпизод. В 1989 году в Россию впервые приехал Адам Михник, о чем он в своем выступлении уже упоминал. Мы с ним к тому времени были знакомы (встречались в Варшаве), и мне удалось залучить его к себе домой. Человек он был известный, авторитетный, и на встречу с ним пришли несколько моих друзей. Возможно, Адам тоже помнит тот вечер. Время было интересное, и мы наперебой рассказывали ему о наших событиях. Одним из самых заметных среди них была забастовка в Кузбассе. Шахтеры выдвинули не только экономические, но и политические требования. Кажется, чуть ли не от нас Адам впервые услышал про эти забастовки. И мне очень запомнилась его реакция, много раз потом я рассказывал про нее. Внимательно выслушав нас, он сказал: «Что же вы здесь делаете? Почему вы в Москве? Вам надо ехать в Кузбасс, направлять и организовывать это движение!»

За спиной Адама был впечатляющий опыт КОС-КОРа. Укоряя российских интеллигентов, он полагал, что русский рабочий будет вести себя в разворачивающемся конфликте так же, как польский. Но все оказалось не совсем так.

Некоторые из нас вскоре отправились в Кузбасс и попытались там воспроизвести польский опыт: наши представления недалеко ушли от того, как это виделось Михнику. Поначалу казалось, что удается что-то сделать. Нам очень понравились лидеры Кузбасского движения. Наверное, то, что мы делали, было неумело, кустарно, без должного понимания сути происходящего. Мы, конечно, не оказались на высоте участников КОС-КОРа. Единственное, в чем нельзя упрекнуть московских и ленинградских интеллигентов, завязавших

отношения с шахтерами, так это в недостатке энтузиазма, желания помочь нашим партнерам создать независимый профсоюз, установить контакты с профсоюзами на Западе. Равно как и в стремлении сколотить политический капитал для себя. Но я сейчас не о нас, а о шахтерах.

Прошло некоторое время, и шахтерское движение выродилось. Созданный Независимый профсоюз горняков (НПГ) провел несколько съездов, на высокой волне стачечного движения сумел добиться выполнения некоторых своих требований. Но постепенно он утратил свой боевой дух и влияние, купился на популизм Ельцина, который какое-то время был в глазах горняков героем, пока в доверие к ним не вошел другой, худшего толка популист — Аман Тулеев. Многие из шахтерских лидеров нашли свое место в администрациях разного уровня. На выборах 1990 года несколько человек были избраны народными депутатами российского парламента, некоторые из них стали прислужниками Хасбулатова. Были и такие, кто не оказался вровень с новыми обстоятельствами своей жизни и нашел утешение в бутылке.

Как и мы, но в другом смысле, эти активисты рабочего движения тоже оказались не на высоте. Сама идея объединить демократов и массы народа и скинуть наконец эту надоевшую нам всем большевистскую власть была замечательной, и ее удалось осуществить. Сразу же, однако, возник вопрос: что делать дальше?

Возвращаясь памятью к тем временам, я думаю, что тогда действительно перед Россией возникла одна из тех возможностей, которые появляются чрезвычайно редко. Может быть, впервые после февраля 1917 года. Возможность прорыва не в светлое царство демократии — до нее нам еще шагать и шагать, то и дело теряя ориентиры и сбиваясь с пути, но по крайней мере к необратимому уничтожению ряда важнейших основ авторитарного строя. Этой возможностью мы воспользоваться не сумели. Об этом надо сказать прямо и отдать себе в этом отчет.

А дальше возникает и вопрос о том, кто виноват и почему так получилось. Сами по себе поиски виноватых — это, как я уже говорил, дело бесполезное и даже вредное, так как уводит от конкретных ошибок конкретных людей и политических сил. Тем не менее такие поиски остаются излюбленным занятием российской интеллигенции, в том числе и либеральной. Список открывают, понятное дело, Горбачев и Ельцин. Но в нем находится место и западным политикам, и разноликим российским демократам, столпившимся у воздвигнутого ими нового трона, и тем, кто завладел после 1991 года большинством в российском парламенте, а в октябре 1993-го выкатил агрессивные толпы своих сторонников на улицы и призвал их штурмовать Кремль и Останкино. Не забывается, разумеется, и народ — вовсе не богоносец, а напичканный разными предрассудками и фобиями.

Можно ли утверждать, что все эти упреки несправедливы? Да нет конечно. Как правило, они небеспочвенны. Возьмем Запад, на который так рассчитывали наши реформаторы. В недавно опубликованных документах Политбюро содер-

жится любопытная запись беседы Горбачева с Бушем в Лондоне в июле 1991 года, за месяц до наступившей в августе развязки. «Странная вещь, — говорил Горбачев, — вы потратили 100 млрд долларов на конфликт регионального значения и не приняли к исполнению куда более важный проект, который мог Россию включить в мировое сообщество. Всего-то на это требовалось несколько десятков миллиардов». Недальновидность западных политиков очевидна. И о многих российских политиках тех лет можно сказать: да, виновны. Были просчеты, были ошибки, была прямая корысть. И с народом, повторю, не все просто. Но меня сейчас интересует одно (все остальное я вывожу за скобки) — вина демократов. Точнее, конкретные ошибки, ими совершенные, причем не мелкие огрехи, а крупные стратегические просчеты. Только осознав их, можно извлечь из них уроки на будущее.

Сергей Адамович Ковалев рассказал об интересном документе – «доносе», под которым стояла подпись Александра Николаевича Яковлева. Дорогой Сергей Адамович, появление этого документа и роль, на какую он был предназначен и какую действительно сыграл (я думаю, очень малую), можно обсуждать отдельно, но зачем сейчас об этом вспоминать? Чем такие воспоминания могут помочь нам в понимании причин нашего поражения? И Горбачев, и Яковлев менялись вместе с событиями, которые они инициировали, – один больше, другой меньше. Но я думаю, что эти люди, их ближайшие соратники и советники сделали гораздо больше для того, чтобы мы сегодня сидели здесь (а не совсем в другом месте, как сказала Мариэтта Омаровна Чудакова) и вели свободную дискуссию, чем все политические лидеры демократов вместе взятые.

Реформаторам в руководстве КПСС можно выставить счет куда более серьезный, чем упомянутый документ. Прежде всего, это попустительство тем, кто бесчинствовал в Тбилиси, Вильнюсе, Риге, кто готовил августовский путч, о чем упоминал и Сергей Адамович. Против такого попустительства надо было выступать, что мы и делали. Но действовать при этом нужно было с умом, которого нам не всегда хватало. И здесь я возвращаюсь к тому, с чего начал, — к дефициту у демократической интеллигенции, пришедшей тогда в политику, политического реализма.

К 1989 году (может быть, раньше, но не позднее) в России обозначились три политические силы. Окрепли и вышли на политическую арену демократы. Консолидировались коммунистические реваншисты — «бурбоны», не утратившие надежду на возвращение к власти. У них были свои фигуранты: будущие лидеры ГКЧП в союзном центре и совсем уж ничтожные, давно забытые субъекты в России — такие, например, как конкурент Ельцина на выборах председателя Верховного Совета РСФСР Иван Полозков. Третья сила — реформаторы, группировавшиеся вокруг Горбачева. Все эти три силы были представлены и в созданных тогда выборных представительных институтах.

Я не раз говорил, что формула Юрия Николаевича Афанасьева об агрессивно-послушном большинстве на Съезде народных депутатов СССР была неточной. Он объединил в ней разные политические силы. С одной стороны, было агрессивное меньшинство – те, кто подал сигнал к обструкции Сахарова на Съезде, кто создал годом позже компартию РСФСР. Георгий Шахназаров нарисовал выразительную картину их поведения на одном из последних пленумов ЦК КПСС: стая хищников, изготовившаяся к прыжку на дрессировщика, но отступающая перед постукиванием бича. Дрессировщик, до поры сдерживающий зверье, - Горбачев. Но он мог сдерживать эту агрессивную стаю только потому, что контролировал послушное большинство, отнюдь не агрессивное и повинующееся его воле, действующее по взмаху его дирижерской палочки. Контролировал тот компонент политического класса, который со времен Великой французской революции именуют «болотом». И очень важно было как можно дольше сохранять эту композицию, сохранять Горбачева, стремившегося, при всех его ошибках и просчетах, проводить среднюю, центристскую линию. Его важно было сохранить, как управителя этой третьей силы, на стороне общественного прогресса, использовать его не истраченный еще политический потенциал для продвижения всего общества вперед.

Это, конечно, сделать было нелегко. Колебания и нерешительность Горбачева, его приверженность идеологическим фетишам («социалистическому выбору», который сделали его дед и отец и о котором он не преминул напомнить даже по возвращении из заточения в Форосе) памятны всем. Но его роль так и не оценили по достоинству демократы, немало сделавшие для разрушения авторитета Горбачева и подрыва его позиций в обществе. В том и проявлялся дефицит у них политического реализма. Мы ринулись поддерживать Ельцина против Горбачева. И в этом была наша роковая ошибка.

В круговерти бурных событий мы не разглядели, что Горбачев был культурнее и, при всех его сомнительных поступках, заблуждениях и социалистических иллюзиях, все же не вынес из своего аппаратного прошлого «царский комплекс» – в отличие от лидера, на которого сделали ставку российские демократы. А главное – у него были те возможности воздействия на политическую ситуацию, которыми мы не воспользовались, не сумели «пустить в дело». Вместо этого демократы объединились со вторым и третьим эшелонами государственной бюрократии, которая заняла главенствующее положение около Ельцина. Вместе с нею мы подавили мятеж реваншистов, а потом опрокинули Советский Союз, заставили уйти Горбачева и, не желая того, открыли путь к реставрации авторитаризма в новых формах.

На излете перестройки демократы сочли, что, прорвавшись к рычагам власти, они сумеют повести Россию к демократии. Это была ошибка. В том взбаламученном море, которое тогда представляла страна, разумнее было

занять место в конструктивной оппозиции к власти, ориентироваться на медленное продвижение вперед, на постепенные реформы. Мы не заметили, как из пестрого сообщества демократов выделялись люди, для которых власть была самоценностью и самоцелью. Неудивительно, что некоторые из них вкоре пополнили ряды новой бюрократии.

Большинство же из тех, кто сохранил верность демократическим убеждениям, в тот момент не поняли, что медленное продвижение вперед при сохранении коммунистических реформаторов в центре политического процесса ценнее и значимее, чем прорыв к власти в качестве, в лучшем случае, эшелона поддержки Ельцина, а не его равноправного союзника. Изнутри российского Съезда народных депутатов было отчетливо видно, как демократы превращались в обоз армии победителей — той армии, где в главные генералы выдвигались бывшие министры, секретари обкомов и совсем уж одиозные фигуры вроде Коржакова. Сделавший феноменальную карьеру, бывший начальник охраны Ельцина предвосхитил позорную ситуацию, когда Жириновский выдвинет своего охранника в президенты России...

И последнее замечание. Я думаю, что ошибка Мариэтты Омаровны Чудаковой заключается вот в чем. Политический реализм, который я здесь защищаю, вовсе не предполагает сотрудничества с любой властью. Путин — не Горбачев. Нынешняя ситуация нимало не напоминает времена перестройки. Тем не менее в политические структуры, создаваемые сегодня властью, пошло некоторое количество достойных людей — в том числе и глубоко уважаемая мною Мариэтта Омаровна. Я им желаю успехов в сотворении «малых дел». Но если и идут туда люди демократических убеждений в надежде реализовать свои замыслы, то это надо делать с открытыми глазами, с пониманием того, зачем власть приглашает уважаемых людей в сообщества, заполняемые в основном шоблой.

Боюсь, что ничего хорошего из этого не получится. Рад буду, если окажусь не прав.

Игорь КЛЯМКИН:

Неожиданная, честно говоря, самокритика. Недовольство Ельциным, высказываемое представителями партии «Яблоко», куда входит Виктор Леонидович, — это не новость. Но предпочтение, отданное при этом Горбачеву... Такого от демократов ельцинского призыва мне еще слышать не приходилось. Я не оцениваю сейчас этот пересмотр прежних представлений и не готов определять его смысл. Я лишь констатирую.

Следующей выступит Наталья Карпова, которая по роду своей деятельности связана с бизнесом. Думаю, что ее взгляд на обсуждаемые проблемы будет всем интересен.

Наталья КАРПОВА (директор Института международного бизнеса Государственного университета — Высшей школы экономики): «Революции готовятся и осуществляются солдатами идеи, а результаты революций "администрируются" генералами конкретных дел»

Хотя разговор идет преимущественно вокруг демократических реформ 1980-х – начала 1990-х годов, он касается сути событий не только недавнего прошлого, но и настоящего. Нельзя не заметить, что интеллектуалы-демократы, ставшие в те годы лидерами общественного мнения и, если хотите, лидерами действия в своих странах, видят настоящее подчас не таким, как оно мыслилось накануне и в процессе реформ. Почему же цели и результаты этих реформ разошлись?

Понятно, что ответы на такого рода вопросы неправомерно искать только в том, что делали и чего не делали интеллектуалы. Но раз уж у нас речь именно о них, то и я постараюсь остаться в границах темы

Для начала, однако, неплохо бы прояснить, о каких интеллектуалах мы говорим. Известно, что круг людей, посвящающих себя интеллектуальным занятиям, делающих жизненный выбор в пользу творчества, саморазвития, свободы самореализации, во всех социумах достаточно узок. Но безусловно и то, что его роль чрезвычайно велика: ведь именно он выдвигает лидеров общественного мнения и уже тем самым направляет развитие общества. Однако сам этот слой весьма неоднороден.

Интеллектуалов можно «сегментировать» по самым разным признакам. Чаще всего деление имеет место по профессионально-кастовому принципу: традиционно выделяют интеллектуалов от науки, искусства, религии и других уважаемых «свободных» профессиональных сообществ (врачи, юристы и т.п.). Но при этом нельзя забывать и интеллектуалов от бизнеса, а также государственного управления и политики, вес которых в современном обществе очень большой.

Есть и другие возможности выбора критериев деления интеллектуального сообщества. Сегодня уже упоминались интеллектуалы-идеалисты и интеллектуалы-материалисты. Если мы условно отнесем к идеалистам тех, кто волею Бога, а не только волею каких-либо внешних обстоятельств заряжен идеей самосовершенствования и совершенствования мира, то этот круг, безусловно, самый узкий. Его роль проявляется в наиболее сложные периоды общественного развития, во времена нравственного выбора, чаще всего связанного с необходимостью преодоления обществом морального и материального кризиса или затянувшегося упадка. Интеллектуалы-идеалисты активизируется в качестве лидеров общественного мнения в ситуациях вынужденной аскезы, отсутствия явных возможностей и легких путей приобретения материального

благополучия. В такие периоды происходит снижение интереса к экономической стороне жизни — он замещается поиском ее новых смыслов. На смену выхолащивающей душу погоне за золотым тельцом приходят размышления о ценностях свободы, справедливости, демократии, просвещения. Общество вдохновляется идеями необходимости изменений и «разворачивается» к ним.

Не стали исключением Польша, а позднее и Россия периода реформ. Это был как раз тот редкий случай, когда политические интеллектуалы-идеалисты стали лидерами общественного мнения. Сегодня много говорили о том, как много сил отдали они в коммунистический период, чтобы сохранить само существо интеллектуальной жизни в наших странах, сберечь привычку размышлять, задавать неудобные вопросы, стремление изменять жизнь к лучшему, а не принимать все как должное. Все согласились, что и идея демократии «поднялась» благодаря этим интеллектуалам-подвижникам, искренне верившим в свою гуманистическую миссию. Вместе с тем говорилось и о том, что народ, который с большим энтузиазмом пошел за ними в первые перестроечные годы, затем отшатнулся и утратил интерес к свободе и демократии. Прозвучали слова, что общество не поняло и даже предало идеи интеллектуалов-идеалистов. И вот с этим позвольте не согласиться.

Общество, на мой взгляд, в тот сложный период 1980-х – начала 1990-х годов продемонстрировало понимание необходимости обновления жизни. Произошел подъем, почти взрыв интереса к идеям свободы и демократии, появилось стремление к переосмыслению основ и форм жизни общества и индивида. Благодаря лозунгу «Освобождайтесь!» интеллектуалы-идеалисты получили мощную массовую поддержку во всех слоях населения. Подтверждением этого является то, что в России, как и в Польше, наблюдалось не только реальное укрепление веры людей в изменения к лучшему, но и готовность терпеть возникающие трудности, приносить реформам существенные жертвы. Многие вынуждены были поменять профессию, образ жизни, города и даже страны проживания. Все то, к чему люди традиционно привязаны, чем дорожат и с чем наиболее болезненно расстаются.

Почему же впоследствии интеллектуалы-идеалисты перестали быть лидерами, на которых общество (и в особенности молодежь) хочет ориентироваться и за которыми готово следовать? Потому что политический идеализм не смог предложить решений, годных для жестких проблем реформенного времени? Потому что не было интеллектуальной реализационной стратегии? Потому что изменились основные ориентиры общества? Видимо, все это имело место. Революции готовятся и осуществляются солдатами идеи, а результаты этих революций «администрируются», скажем так, генералами конкретных дел.

Кто же пришел на смену политическим идеалистам? Конечно же опять интеллектуалы. Как в России, так и в Польше лидерство перешло к интеллек-

туалам-материалистам, выдвигавшим подходящих им вождей. Их энергия материализма, как более распространенное качество человеческой природы, имеет более широкую базу и обычно более понятна «простому» человеку.

Вместо стремящихся к свободе выбора тонко настроенных и тонко чувствующих интеллигентов общество быстро получило весьма энергичных, умелых, и, безусловно, интеллектуальных лидеров. Они деловито и талантливо устремились к новому (и своему месту в этом новом), открыв в нем массу возможностей – прежде всего для самих себя. Возможностей выбора и реализации для индивида!

Будучи «заточены» на другую систему ценностей и интересов, они скорректировали ориентиры и всю нашу жизнь в новой, уже материальной «плоскости» развития. Они оказались мощнее с точки зрения владения знанием и информацией, готовности к экспериментам по созданию новых экономических систем и схем. В том числе и не всегда гуманных.

Откуда пришли эти люди? Нет сомнений, они всегда были рядом. Отчасти это те же идеалисты, которые в новых условиях «трансформировались» в материалистов быстрее, чем вдохновленный ими народ. Отчасти это интеллектуалы, которые всегда ценили выше материальную сторону жизни, предпочитая вкладывать свою энергию в этом направлении вне зависимости от профессионально-кастовой принадлежности.

Могло ли общество не заметить эту смену – по сути, подмену целей развития, когда вместо свободы и демократии четко обозначился другой ценностный ориентир – «Обогащайтесь»? Если учесть, что для подавляющего большинства, включая и многих интеллектуалов, он означал «Выживайте!», то становится понятно, почему большинство населения испытало скорее разочарование, нежели радость от впечатляющих успехов (преимущественно на личном материальном поле) представителей новой элиты.

Выходит, что интеллектуалы интеллектуалам рознь? И может быть, сама история требует разных интеллектуалов в разные эпохи? Но если это и так, то всегда, в любую эпоху важна ценностная ориентация думающего сообщества. Важно, зачем, с какими целями и представлениями о том, что есть благо, а что есть вред, интеллектуал берет на себя право решать судьбу своего, а подчас и не только своего народа. Ценности могут декларироваться или не декларироваться, но они всегда проявляют себя в поступках и результатах, которые видны обществу.

Что происходит сегодня в стане интеллектуалов? Если коротко, то жизнь заставляет искать компромисс между уже упоминавшимися «Освобождайтесь!» и «Обогащайтесь!». Это вполне закономерно в контексте сложившихся ценностных реалий современного общества, причем не только российского, но и любого другого.

Известно, что многие лидеры бизнеса, а также политики и государственного управления, демонстрируют все более выразительные деловые успехи, становясь

иконами современного общества, ориентирами и эталонами для молодежи, в особенности образованной ее части. Мы видели в последние годы и видим сегодня немало предпринимателей, выстраивающих (и весьма успешно) систему социальной ответственности бизнеса, формирующих компании с ясно прописанной миссией, понятной системой взаимоотношений, уважением прав и интересов человека. Мы видели и видим движение государственных элит многих стран мира в направлении прозрачных и ответственных решений, часто требующих твердости выбора и мужественных действий. Видели и видим молодежь (поддерживаю оценку Кшиштофа Занусси), ориентированную на творческие достижения. Радуют и непрекращающиеся усилия (часто не без поддержки бизнеса) испытанных бойцов культуры, произведения которых призваны «поднимать» человека над рутиной повседневной жизни.

Однако мы видим и другое — умелое использование новых (в том числе глобальных) технологий ведения бизнеса в целях быстрого обогащения с неясными и не учтенными для общества последствиями, тягу к краткосрочным, в том числе агрессивным, стратегиям, освобождающим, по мнению их пользователей, от ответственности за отложенные во времени катаклизмы и кризисы. Видим, что недавно казавшаяся устойчиво успешной модель лидерства, базирующаяся на определенном компромиссе ценностей и действия, ценностей и практического поведения, не выдерживает очередного испытания. Текущий финансовый кризис — лишь одно из проявлений несостоятельности данной модели. Видим также определенное оскудение интеллектуальной жизни в смысле нравственного поиска (естественное, вероятно, для периода потребительского ажиотажа), при нежелании или неумении в силу разных причин «взрослого» сообщества работать с молодежью.

Хочется надеяться, что верх возьмут позитивные, а не негативные тенденции. Встречи интеллектуалов разных стран, обсуждающих в том числе и проблемы самого интеллектуального сообщества, тоже могли бы этому способствовать. А поэтому и инициативу «Либеральной миссии» можно только приветствовать.

Игорь КЛЯМКИН:

Большое спасибо. Вы ввели в нашу дискуссию более широкое представление об интеллектуалах как о людях умственного труда. Оно используется обычно в странах развитой демократии, хотя и там не является общепринятым. Но мы все же говорим о роли интеллектуалов в стране, где демократия свернута, о том, что они могли бы сделать здесь для ее утверждения. В вашей же логике эта проблема оказалась отнесенной исключительно к прошлому. Но разве она была решена?

И еще я в вашем выступлении обратил внимание на то, что вы делаете акцент на общемировых тенденциях. Разумеется, для этого сегодня есть немало

оснований. Но мы все же обсуждаем (я имею в виду российских участников) проблемы страны, имеющей некоторую специфику. Сквозь призму мировых тенденций она не просматривается.

В списке записавшихся для выступлений остался только Валентин Гефтер, которого я и приглашаю к микрофону. После него выступят еще Сергей Ковалев и Адам Михник. Они просили предоставить им такую возможность, и она им будет предоставлена.

Валентин ГЕФТЕР (директор Интитута прав человека): «Проблема демократии сегодня— это проблема всепланетная, и для ее решения требуются усилия всего мирового сообщества интеллектуалов»

Я бы не стал просить слова, если бы не порадовавшие меня выступления молодых коллег – Глеба Мусихина и Кирилла Рогова. Должен сказать, что меня совершенно не волнуют сейчас, пусть не обидятся мои старшие друзья, Виктор Шейнис и Сергей Ковалев, разборки между политическими идеалистами и политическими реалистами. Да еще повернувшись лицом к недавней истории, которую пора бы уже отрефлексировать, а мы до сих пор выясняем отношения. А вот то, как Мусихин и Рогов смотрят на задачи современных интеллектуалов в современном демократическом обществе, мне показалось интересным. При этом не так уж важно, о какой демократии идет речь, — о либеральной демократии в Польше, если наши гости ее таковой считают, или суверенно-авторитарной демократии в России.

Путинская Россия (при всем ее очевидном квазидемократическом облике) — вовсе не горбачевский Советский Союз, да еще образца 1988—1989 годов. И миссия интеллектуалов в ней отнюдь не определяется выбором того или иного «изма», будь-то идеализм или реализм с прилагательным «политический». Она, по-моему, заключается в обязанности критического анализа основ всепланетного жизненного устройства в условиях той демократии, которую мы имеем сейчас, независимо от всех различий между США, Польшей или Россией.

Попробую обозначить волнующие меня угрозы и вызовы, которые частично уже упоминались. Я имею в виду «внутренние болезни» демократии, с трудом поддающиеся общеупотребимому описанию, которые необходимо преодолевать, обсуждая их природу. Чтобы понять ее родовые проблемы до того, как спроектируем светлое «завтра», понять, что нас ждет, если эти проекты начнут осуществляться.

Первая проблема – допустимо ли во имя демократии быть недемократичными по отношению к недемократичности? Существует ли такое «право»? На эти вопросы ответа до сих пор нет.

Вторая проблема — возможна ли в наше время цензовая демократия, или, другими словами, демократия посвященных (экспертов) по отношению к плебисцитарной, выборной демократии? Может ли она быть инструментом предупреждения манипуляций на выборах и общественным мнением вообще?

Третья проблема связана с выбором наименьшего зла, т.е. антидемократических действий и ограничений прав немалого числа граждан ради спасения государства в целом. Казус Ярузельского, грубо говоря. Проблема, которая тоже далека от решения, и люди буду сталкиваться с ней не только в какой-то одной отдельно взятой стране.

Четвертая проблема касается «демократической», или гуманитарной, интервенции, права и обязанности вмешательства извне ради устранения тирании тоталитарных режимов и спасения многих людей. Как этот вопрос можно будет решать в том новом мировом правопорядке, о необходимости учреждения которого так много говорят сегодня?

Наконец, сам этот искомый демократический всемирный правопорядок — что это такое? Недостижимый идеал или реальный путь к спасению от торжества геополитики в виде совсем иных (и разных) моделей мирового развития? Среди них и столь популярная ныне идея защиты передовых демократий «золотого миллиарда» от планетарного охлоса «отставших» или несостоявшихся напий.

И последнее, что хочу успеть назвать, – с подачи, кстати, Адама Михника. Мне кажется очень важным, и это одна из проблем, которая особенно заострена сегодня, – соотносимость демонационального и демоимперского. Что относится к демонационализму, более или менее понятно. Но и демоимпериализм в его американском варианте, не говоря уже про российские его извращения, тоже очевиден, как данность. Связанные с демонационализмом и демоимпериализмом угрозы – в том числе самой идее демократии – и одновременно мнимость выбора между двумя этими полюсами государствоцентричности необходимо обсуждать уже в рабочем порядке.

Все эти больные вопросы, относящиеся к феноменам как внутреннего, так и международного масштаба, требуют своего решения не только на внутринациональном уровне и не силами тех или других ангажированных интеллектуалов, принадлежащих к разным партиям в кавычках и без. Это задача для всего международного сообщества интеллектуалов.

Игорь КЛЯМКИН:

С тем, что сказал Валентин Михайлович, трудно не согласиться. Есть общие проблемы демократии, для решения которых требуются совместные усилия интеллектуалов разных стран, в том числе и российских. Но мне все же кажется,

что если последние полностью сосредоточатся на вопросах «всепланетного жизненного устройства», то до вопросов, касающихся демократии в России, они могут и не добраться. А от того, станет ли эта демократия либеральной или останется «авторитарно-суверенной», в немалой степени будет зависеть и характер «всепланетного жизненного устройства».

Итак, мы приближаемся к финишу. Пожалуйста, Сергей Адамович, вы можете высказать соображения, возникшие у вас по ходу дискуссии.

Сергей КОВАЛЕВ:

«Мне кажется, что ценностные подходы будут постепенно заменять войну ничем не сдерживаемых интересов»

Здесь много говорилось о «народе». И я тоже скажу о нем несколько слов, немножко вспомнив мое биологическое образование. Полезно знать некоторые отличительные свойства объекта обсуждения и их происхождение.

Очень многие успехи «эффективного менеджера» Иосифа Виссарионовича Сталина были обусловлены, простите за тавтологию, едва ли не главным его успехом — селекционным. Сталин вывел, ни много ни мало, новую историческую общность — советский народ. Терпеливый, раболепный, подозрительный, злобно презирающий рефлексии и, соответственно, интеллектуально трусливый, но с известной физической храбростью, довольно агрессивный и склонный сбиваться в стаи, в которых злоба и физическая храбрость заметно возрастают. Вообще-то, эти свойства представлены в любом народе, разница только в степени выраженности. Сталинские же селекционные критерии были весьма высоки. Уверен, что перечисленные мной качества прямо планировались, хотя назывались, конечно, другими словами. Сталин отлично понимал, что без такого народа, всецело и искренне ему подчиненного, все его жесткие, императивные, втиснутые в минимальные сроки государственные планы рухнут.

Работа велась вполне банальным, но очень продуктивным методом, который на профессиональном языке биологов называется «селекцией на провокационном фоне». В чем ее суть?

Если селекционер хочет, например, получить растения, устойчивые к какомунибудь заболеванию, то он заражает возбудителем болезни всю делянку. Это и есть провокационный фон. Селекционер использует немногие выжившие (а значит, наиболее устойчивые) экземпляры как материал для скрещиваний, новых отборов и т.д. — не будем вдаваться в подробности. Думаю, что Сталин работал вполне сознательно, хотя рассуждал, конечно, в иной терминологии.

Самой важной селекционной делянкой были, понятно, лагеря. Еще были раскулачивание и коллективизация. Но кроме того — чистки, проработки, верноподданнические митинги и демонстрации, гражданский долг доноситель-

ства, уроки ненависти на политучебе, просто учеба с ее промывкой мозгов... Мне возразят, что это уже не отбор, а воспитание. Кто же спорит, это так, и это тоже очень важно осознавать, ведя разговор о народе. Но все же, мне кажется, есть и некоторый селекционный момент в перечисленном. Видит Бог, я не ламаркист, а все же думаю, что есть. Правда, Ю.Н. Афанасьев говорит, что начало такой народной эволюции уходит в глубь российских веков. Что ж, он историк, ему видней.

Игорь КЛЯМКИН:

Это опять возвращает нас к вопросу о «почве», поднятому Вадимом Межуевым. О культурном разрыве между народом и интеллигенцией. Интересно бы разобраться в том, каким образом на этом разрыве сказалась и коммунистическая селекция, о которой вы говорите. Кстати, нечто подобное было ведь и в Польше, но там все ограничилось пока кратковременной вспышкой традиционализма...

Сергей КОВАЛЕВ:

Чтобы показать, как выглядят сегодня у нас результаты этой селекции и выведенной благодаря ей «исторической общности», приведу один лишь пример – последние парламентские выборы. В них участвовали одиннадцать конкурирующих партий. И в нескольких субъектах так называемой федерации результаты оказались близкими к чеченским. А в Чечне – 99,5% явившихся на участки избирателей и 99,4% голосов за «Единую Россию». Даже самые страстные ее апологеты хорошо понимают, что это вранье. По одной сотой процента в среднем на каждую из десяти конкурировавших с «Едроссами» партий – это уж слишком. Понимает это Путин – и врет. Все первые лица государства публично врут, будто это результат свободного волеизъявления. Все их слушатели знают, что им врут. Они сами знают, что им не верят даже их сторонники. И сторонники знают, что лжецы точно осведомлены об их недоверии.

Зачем тогда ложь? Считается, будто она используется, чтобы кого-то обмануть. Но ведь тут никто не обманут — все все понимают! Мы живем в стране ритуального вранья, нужного лишь для того, чтобы продемонстрировать свою приниженную покорность — дескать, делайте что хотите. И никому не стыдно. Никаких тебе майданов. Никто никуда не вышел. Не сказал: «Мы не стадо. Мы не позволим с собой так обращаться!»

А теперь немного совсем доморощенной статистики. В России 93 тысячи избирательных участков. Чтобы «подправить» результат голосования, технически недостаточно только председателя избиркома, нужно как минимум 3–4 члена комиссии. Есть еще комиссии других уровней. Я вовсе не утверждаю, будто

каждая комиссия мошенничает. Но каждой как-то передан намек о «контрольных цифрах», т.е. рекомендованных результатах. И каждая готова соответствовать ожиданиям. Это значит, что около полумиллиона добропорядочных граждан, никаких не уголовников, либо *совершают* тяжкое преступление, либо *сомовы* его совершить. Самое интересное — они не боятся совершить преступление, они боятся его *не* совершить. А если добавить сюда тех, кто обслуживает пресловутый «административный ресурс»?

Вы думаете, я один задумался об этих масштабах? Да половина избирателей представляют себе порядок величин! Вот вам и долговременный результат того селекционного успеха, о котором я говорил.

Я написал довольно грубое и, по-моему, хорошее открытое письмо о выборах. И получил ответ из Администрации Президента. Очень вежливый: «Уважаемый Сергей Адамович! Ваше письмо отправлено по принадлежности». В Центризбирком, вестимо. Оттуда уж ничего не получил.

Евгений ЯСИН:

Пока общество пребывает в спячке, власть на такие письма реагировать не будет. Но если интеллектуалы, вроде вас, перестанут их писать, то оно вообще никогда не проснется.

Сергей КОВАЛЕВ:

Несколько слов об идеализме и реализме – в ответ Виктору Шейнису. Я думаю, Виктор Леонидович, что наши с вами разногласия в какой-то мере плод недоразумения, спор о словах. При всей моей полуграмотности в области практической политики, я все же отлично понимаю, что политик, особенно во власти, постоянно сталкивается с разнообразными конфликтующими интересами и вынужден находить их баланс, разрешать споры, искать компромиссы. Знаю, что так будет всегда, – я же все-таки не городской сумасшедший. А принципиальное различие направлений, о которых мы с вами спорим, заключается, если угодно, в резком несовпадении шкалы ценностей.

Для идеализма на вершине этой шкалы (притом в большом отрыве от всего остального) – четко формализованный принцип, норма, процедура, никак ни от какого интереса не зависящие, но воплощающие некую совокупность идей – свободы, равноправия, гуманности (список и дефиниции можно обсуждать) и некий набор табу. Это главный приоритет, и только он кладется в основу всех частных решений.

А главный приоритет «реальной политики», наоборот, именно некий *интерес* (геополитический, экономический, интерес государственного суверенитета, да

мало ли что еще) либо совокупность интересов. В меняющихся обстоятельствах приоритетность интересов меняется, а в конфликте интересов главная роль принадлежит обстоятельствам, а не ценностям.

Оба мы знаем давние традиционные методы «реальной политики». Какой эпизод поподробней ни рассмотри, всегда упрешься в правило «цель оправдывает средства», всеми лицемерно проклинаемое и всеми же практикуемое. Макиавелли ничего не придумал, а писал как есть, и с тех пор «реальная политика» не шибко изменилась.

Я бы никогда не кончил говорить, если стал бы подробно иллюстрировать это страшноватыми примерами. Кстати сказать, один из них относится прямо к Польше. В Нюрнберге, уже под флагом универсальных ценностей, три дня слушали обвинения немецкого фашизма в расстреле польских офицеров в Катыни. Все участники процесса точно знали, кто и когда расстрелял поляков, но эта комедия крутилась потому, что там один людоед судил другого — за канибализм, между прочим. И в рамках как раз политического (это в суде-то!) реализма никак невозможно было катынских палачей удалить из обвинения. Слава Богу, еще этот эпизод в приговор не вставили. Вот вам и универсальные ценности!

Мы с вами, Виктор Леонидович, абсолютно, ну просто до мелочей совпадаем в оценке роли Горбачева, Яковлева, всей перестроечной команды. Но именно потому-то мне так и нужен этот злосчастный эпизод с высочайшим доносом, за воспоминание о котором вы меня ругаете. Ведь трудно найти более яркое доказательство того, что делает этот самый реализм даже с такими личностями. А назвался груздем – полезай в кузов. И никуда не денешься. Я ведь подробно разобрал мотивы и логику доноса. И как ни крути, отовсюду лезет все та же взаимозависимость целей и средств. Если ради некой высокой цели не побрезгуешь доносом, то, чтобы сохранить лицо, нужно прикрывать его какой-то маской. А маска имеет обыкновение прирастать, и где лицо, а где маска – уже не разберешь.

Кстати, вы-то сами, раз вы реалист, ради какой цели написали бы донос? И в чем готовы были бы солгать? Ах, вы этого делать не хотите, потому что реалистично полагаете, что эти мелкие уловки недальновидны, что прозрачность и правдивость в конце концов оказываются прагматичными, а у лжи короткие ноги... Так? Но если так, то вы же и есть идеалист, что же вы меня ругаете?

Думаю, что традиционная политика себя исчерпала, что она давно уже не справляется со сколько-нибудь серьезными проблемами, а ее скверно работающий механизм просто опасен. Конечно, нельзя поменять политическую парадигму указом. Но, мне кажется, ценностные подходы будут все же постепенно заменять войну ничем не сдерживаемых интересов. Собственно, такие подходы, порожденные тревогой и идеей ответственности за жизнь, и составляют главный смысл

нового политического мышления, о котором говорили Эйнштейн и Рассел, Сахаров и Горбачев.

И вот что еще в этой связи кажется важным. Традиционная политика (политический реализм, если угодно) создавалась, развивалась, совершенствовалась как аппарат межгосударственных отношений в разделенном и, признаем, не слишком доверчивом и дружелюбном мире. Именно об этой ведь политике было сказано, что война – ее продолжение другими средствами. Перефразируя, получим, что традиционная политика – предшественница войны, ее подготовительница.

Сейчас – другие времена. Другой мир. Кстати, и другая будет война, ежели случится. Разумно ли пользоваться прежними инструментами, изготовленными для другой работы? Нужно ли нам это? И не слишком ли многое, что касается нас прямо, мы передоверяем власти?

В 1972 году А.Д. Сахаров сожалел, что в ООН представлены правительства, а не народы. Он считал, что желательно было бы иметь там независимый комитет из интеллектуальных и нравственных авторитетов, который предлагал бы соображения и рекомендации по разным проблемам. Правительства, которых касались бы эти рекомендации, могли бы их принять или отвергнуть, но должны были бы сделать это публично. Понятно, что учредить что-то такое в ООН невозможно, по крайней мере сейчас. Однако могла бы, вероятно, возникнуть общественная структура такого рода, что-то подобное Римскому клубу. Но пока и это не удалось.

Игорь КЛЯМКИН:

Спасибо, Сергей Адамович. И наконец, Адам Михник. Он прекрасно знает Россию, но предпочел о ней не высказываться. Может быть, у него возникло желание прокомментировать то, что он здесь услышал.

Адам МИХНИК: «После каждой ночи приходит рассвет»

Я буду предельно краток. Это было очень интересное обсуждение. После него я стал еще большим оптимистом в отношении России. Если в ней есть такие люди, каких я здесь увидел и услышал, такие мысли и такая откровенность, то в ее будущем можно быть уверенным.

Не беспокойтесь, после каждой ночи приходит рассвет. Все будет хорошо в России, я в этом убежден. Когда лет через пятьдесят историки будут писать о нынешней эпохе в вашей стране, они, не сомневаюсь, оценят эту эпоху очень высоко.

Наверное, у соседа трава всегда кажется зеленее. Различия между Россией и Польшей, которые отмечали российские коллеги, конечно же существуют.

Но есть и еще одно, о котором здесь не упоминалось. Мы в Польше говорим, что стакан наполовину полный, а вы говорите, что он наполовину пустой.

Мне показалось, что у некоторых из моих российских друзей появились иллюзии в отношении нереализованных прошлых возможностей. Если Виктор Шейнис сегодня говорит, что двадцать лет назад надо было поддерживать Горбачева, а не Ельцина, то я тебе, Виктор, скажу честно: это не имело бы ни малейшего значения. Потому что Борис Николаевич Ельцин был кумиром страны, кумиром общества. Мы в Польше (такие люди, как я) не сделали вашей ошибки. Мы не пошли за Валенсой, мы выступили против него. Результат тот же самый. А почему в истории происходит именно так, а не иначе — это уже тема другой конференции.

И последнее. Я сегодня счастлив. Потому что мои русские друзья мне сказали, что в Польше, на моей родине, есть большой успех. Спасибо. В Польше такого не услышишь. Поверьте, что видеть стакан наполненным лишь наполовину – еще не значит чувствовать себя комфортно.

Заключительное слово Игоря КЛЯМКИНА:

«Удастся ли российской демократической интеллигенции выдвинуть конкурентоспособный политический проект и заинтересовать им российское общество — этот вопрос остается открытым»

Спасибо, Адам. Возможно, в Польше нет ощущения успеха, потому что у поляков другие, чем у нас, точки отсчета для сравнения. Вы сравниваете свою страну с Западной Европой, на фоне которой ваши достижения впечатляющими не выглядят. В России же вы ищите лишь аналоги вашего негатива. А мы видим, что Польша в сравнении с Россией ушла вперед.

У вас создана демократическая политическая система, а у нас не создана. Хотя у вас нет ни нефти, ни газа, российский ВВП на душу населения почти на четверть меньше польского – я специально привожу данные за докризисный 2007 год, когда цены на нефть росли, а не падали. У вас инфляция в пять раз меньше российской, а средние размеры зарплат и пенсий намного больше. Вот почему россияне говорили здесь об успехах Польши и пытались выяснить, почему Россия от нее отстала.

Мы завершаем обсуждение. Благодарю всех докладчиков и участников дискуссии за содержательные выступления. Никоим образом не претедуя на обобщение всего сказанного, остановлюсь лишь на четырех моментах, которые представляются мне наиболее важными.

1. Я согласен с Адамом Михником в том, что не стоит увлекаться поиском в прошлом нереализованных альтернатив. Вряд ли нам чем-то поможет написанный задним числом сценарий поддержки Горбачева в его противостоянии с Ельциным или сценарий честных выборов 1996 года, которые хотя и могли привести к власти Зюганова, но могли и способствовать якобы сохранению демократического вектора развития страны.

Оставаясь в прошлом, мы ничего друг другу не докажем. Потому что никто уже никогда не узнает, как сказалась бы на судьбе российской демократии победа Зюганова и насколько процедурно чистыми были бы следующие выборы. Не забудем к тому же, что лидер КПРФ располагал бы «монархическими» полномочиями, которыми наделяет президента российская Конституция, принятая, напомню, еще в 1993-м и ставшая юридическим фундаментом для монополизации власти. Но сами эти попытки переоценки событий недавней истории кажутся мне важными с точки зрения сегодняшнего самоопределения демократической интеллигенции.

Наше прошлое может быть полезно нам в одном-единственном смысле. А именно как неопровержимое фактическое доказательство той простой истины, что отступление от демократически-правовых принципов во имя грядущего торжества демократии ведет не к ее утверждению, а к ее свертыванию. И если интеллектуалы что-то и могут сделать, так это отстаивать эти принципы и убеждать общество в том, что принесение их в жертву неизбежно влечет за собой цепь последующих откатов.

Разумеется, я имею в виду интеллектуалов, непосредственно в политику не вовлеченных. И на всякий случай напоминаю о том, что говорил о таком вовлечении Эдмунд Внук-Липинский. Он говорил, что интеллектуал, участвующий в политике, перестает быть интеллектуалом.

2. В ходе дискуссии мы, по-моему, не очень далеко продвинулись в поисках ответа на вопрос, почему польским интеллектуалам удалось добиться утверждения демократии, а у российских это не получилось. Мне кажется, ответ нужно искать в том, что наша демократическая интеллигенция (и вовлеченная в политику, и остававшаяся вне нее) стала заложницей политических элит, боровшихся не за демократию, а за властную монополию посредством использования демократических процедур. Собственную повестку дня она инициировать не смогла. Столь естественная, казалось бы, идея учреждения российского государства (после распада СССР) обществу не была даже предложена.

Если польские интеллектуалы, как опять же напомнил нам о том коллега Внук-Липинский, привнесли в политику демократическое «нормативное измерение», то мы оказались втянутыми сначала в противоборство между Горбачевым и Ельциным, а потом – между Ельциным и Хасбулатовым. И инерция этого столь велика, что и сегодня Виктор Шейнис говорит о том, что не на того, мол, поставили: поддерживать нужно было не Ельцина против Горбачева, а Горбачева против Ельцина.

Я вовсе не хочу сказать, что интеллигенция могла существенно изменить ход событий. Скорее всего – согласен с Адамом Михником, – не могла. Политические элиты, не сумев достичь согласия о демократических правилах игры, втянули в свою междуусобную войну за обладание властной монополией широкие слои населения. Но я не уверен, что в эту войну должна была втягиваться и интеллигенция. По-моему, мы оказались не на высоте именно как демократическое интеллектуальное сообщество, способное к нормативному проектированию. Тем самым был упущен шанс заложить традицию такого проектирования, равно как и шанс сформировать само такое сообщество.

О том, что получилось в результате, здесь говорил Глеб Мусихин. Демократическое интеллектуальное сообщество, способное инициировать собственную повестку дня, в России сегодня отсутствует. Интеллектуалы, как и двадцать лет назад, ищут персону во власти, к которой целесообразнее прислониться. Разумеется, во имя грядущего торжества демократии. При этом отсутствие у либерально-демократического сообщества собственной повестки дня проистекает еще и из несформированности у многих его представителей

пиберально-демократического сознания. Оно деформируется, как я уже говорил, имперским и авторитарным подсознанием.

У польской либеральной интеллигенции такого не наблюдалось и не наблюдается. Поэтому у нее нам есть чему учиться. И речь идет — повторю сказанное мной в самом начале обсуждения — не об опыте ее противостояния братьям Качинским, т.е. определенному политическому курсу в условиях утвердившейся демократической государственной системы. Речь идет о деятельности польских интеллектуалов в те времена, когда они выдвигали и отстаивали саму идею учреждения такой системы, когда выступали за придание политическому процессу демократического «нормативного измерения».

3. Судя по сегодняшней дискуссии, мысль о необходимости альтернативного демократического проекта постепенно овладевает нашими умами. Но мы рискуем застрять на стадии критических констатаций: проектов, мол, нет, никто их не разрабатывает, а надо бы... Кому адресованы эти призывы? Предлагаю адресовать их самим себе. Всем вместе и каждому в отдельности. Если задача осознана, давайте ее решать.

Демократический политический проект имеет две составляющие. Во-первых, он предполагает выстраивание системы институтов, основанной на демократически-правовых принципах. Во-вторых, он предполагает широкую общественную поддержку. И это «во-вторых» сегодня мне кажется более важным. Тем более что первая, институциональная, составляющая слишком уж больших усилий не требует.

Дело в том, что демократически-правовые институты заново изобретать не надо. Ни в Польше, ни в других странах Восточной Европы этим не занимались, а пользовались нормативными стандартами, изложенными в документах Европейского союза. В них на десятках тысяч страниц детально прописаны все компоненты демократического институционального устройства. Разумеется, каждая страна адаптировала все это к своим особенностям, каждая определяла приемлемые для нее этапы продвижения к цели. Но данная цель имеет четкие универсальные критерии, и если институциональное устройство того или иного государства им не соответствует, то оно не может считаться демократическим и правовым. И политическим элитам всех стран Восточной Европы и Балтии – коллеги из Польши могут это подтвердить — пришлось очень напряженно поработать, чтобы обеспечить соответствие своих стран таким критериям.

А что у нас? У меня такое впечатление, что об этих документах Евросоюза в России мало кто знает, не говоря уже об их изучении. Поэтому первое, что надо бы сделать, – ознакомить с ними нашу общественность, и «Либеральная миссия» ищет сейчас способ, как представить их в максимально компактном виде. Без такого цивилизационного ориентира наши проекты институциональных преобразований вряд ли смогут обрести то качество, в котором органично

сочетаются универсальные демократически-правовые принципы и национальные особенности страны.

Я имею в виду проекты независимых экспертов и оппозиционных либеральных политиков, а не тех людей, которые предлагают властям сценарии «развития российской модели демократии». Как будто такая модель уже создана и ее остается лишь потихонечку «развивать». В этих сценариях не формулируются ни цель такого развития, ни этапы продвижения к ней, а вопрос о векторе развития подменяется вопросом о его темпах. Потому что их авторы, похоже, озабочены лишь тем, чтобы представить программы косметических изменений, не затрагивающих основ сложившейся в России авторитарнобюрократической политической системы. Имитационность нашей демократии сознательно или бессознательно предлагается преодолевать посредством имитаций демократизации.

Эти эксперты, кстати, тоже причисляют себя к интеллектуалам либеральнодемократической ориентации. И они, как мне кажется, до сих пор больны болезнью перестроечных и первых постперестроечных лет, когда ориентации демократической интеллигенции «реалистично» приспосабливались к одной из групп политического класса, воспринимавшейся более демократичной, чем ее оппоненты. О том, насколько реалистичен такой «реализм», я распространяться не буду.

Но дело все же не только в том, каковы предлагаемые сегодня институциональные проекты, — среди них, повторяю, есть не только «косметические». Дело в том, что без поддержки обществом самой идеи системных демократических преобразований любые подобные проекты останутся лишь благим пожеланием. В конце 1980-х годов такая поддержка существовала, но институционального воплощения идея эта не нашла и была в ходе реализации выхолощена. И в результате оказалась дискредитированной. Поэтому до общества важно донести сегодня представление не столько о том, как должна быть устроена демократия, сколько о том, зачем она ему нужна и чем отличается от ее «суверенной» имитации.

Вернуть идее демократии утраченный ею общественный авторитет – вот в чем, по-моему, должна сегодня заключаться суть демократического проекта.

Евгений ЯСИН:

Это вроде бы всем понятно. Не понятно только, как это сделать.

Из зала:

Не имея к тому же доступа к широкой телеаудитории...

Игорь КЛЯМКИН:

В общем виде ответ, по-моему, очевиден: идея демократии должна быть соотнесена с реальными интересами людей, должна предстать в их глазах как главное условие роста их благосостояния. Если же они будут воспринимать демократию как предписываемую им интеллигенцией «ценность», их интересам не соответствующую, то они еще долго будут предоставлять нам возможность порассуждать о неподатливости российской культурной «почвы». Или, как изящно выразился Денис Драгунский, о том, что наши интеллигентные либералы и демократы «некоторым образом вненациональны»

При объяснении полезности и выгодности демократии опыт Польши и других стран Восточной Европы мог бы сослужить российским демократам очень хорошую службу. К сожалению, он им пока неинтересен. А он ведь к тому же позволяет наглядно показать и две главные проблемы, которые в России в отличие от этих стран не были решены в 1990-е годы. Я имею в виду утверждение системы свободной политической конкуренции и отделение собственности, превратившейся из государственной в частную, от власти, без чего демократическо-правовая государственность невозможна в принципе.

Из зала:

И как это можно «наглядно показывать», не имея контактов с телеаудиторией? Ведь именно об этом говорила Мариэтта Чудакова, объясняя целесообразность такой партии, как «Правое дело»...

Игорь КЛЯМКИН:

Чтобы начать реализацию демократического проекта, вовсе не обязательно иметь свободный доступ на телеэкран. И партии вроде «Правого дела» для этого создавать не надо. При наличии самого такого проекта тех информационных ресурсов, которые доступны сегодня либералам, на первых порах вполне достаточно. Но ведь и в этих ресурсах он не представлен. А не представлен потому, что его еще нет.

Мариэтта Омаровна Чудакова сетует на то, что у либералов отсутствует доступ к населению, без чего затруднительно заниматься его просвещением. Поэтому, мол, и нужна «легальная либеральная партия». Но доступ к населению есть, например, через Интернет. Однако я не слышал о том, чтобы там появились какие-то форумы, где бы целенаправленно и заинтересованно обсуждался вопрос о том, зачем России нужна демократия и чем она может быть полезна людям.

И в либеральных СМИ ничего такого нет. А между тем вопрос-то не из простых. Во всяком случае, задача наших идеологических оппонентов гораздо проще: они могут опираться на хорошо знакомую людям государственную традицию, а нам предстоит убедить общество в полезности для него того, чего в России никогда не было.

Так ли уж хорошо представляем мы, как это делать? Ведь власть не допускает нас до телеаудиторий вовсе не потому, что опасается креативной мощи наших политических проектов, а потому, что боится публичной критики в свой адрес. Не потому, что видит в либералах реальную или потенциальную альтернативу себе, а потому, что публичные обличения «вертикали власти», особенно ее верховных персонификаторов, несовместимы с авторитарной природой этой «вертикали». Не получит права на такие обличения и «Правое дело». И что же предложит оно российскому обществу? Каким образом сделает в его глазах демократию привлекательной?

Чем создавать такие партии ради «доступа к населению», лучше бы, по-моему, задуматься о том, например, почему Ирина Ясина и Алла Гербер не могут найти контакт с теми молодыми людьми, доступ к которым они имеют. Стремиться к расширению пространства для просвещения до того, как освоено пространство имеющееся, — не есть ли это уход от реальной проблемы в область иллюзий? И не только по поводу возможностей и перспектив сотрудничества с авторитарной властью, но и относительно наших собственных сегодняшних просветительских возможностей.

Не исключено, что те сдвиги в массовом сознании, о которых говорил Кирилл Рогов, создают для восприятия демократического проекта более благоприятную, чем раньше, почву. Доверие к авторитарно-бюрократической «вертикали власти» будет неизбежно ослабляться и экономическим кризисом. Но он же будет использован (уже используется) и консервативными силами для вбрасывания в общество идеи еще более жесткого авторитарного «порядка», который, не исключено, тоже будет преподноситься как «подлинно демократический». А удастся ли выдвинуть конкурентоспособный политический проект и заинтересовать им население российской демократической интеллигенции – этот вопрос остается открытым.

Соответственно, остается открытым и вопрос о том, возможно ли в России преодоление раскола не только политической, но и интеллектуальной элиты, о котором говорил Денис Викторович Драгунский. Такой раскол, как мы услышали сегодня от Славомира Поповского, существует и в Польше. Но там он перекрывается общественным консенсусом относительно безальтернативности демократии. Поэтому там возможен приход к власти традиционалистских сил, но невозможна реставрация политической монополии. А в России общество еще только предстоит убедить в том, что именно от такой монополии все его беды.

4. Дискуссия, как мне кажется, лишний раз показала, что до сих пор не завершено осмысление с либерально-демократических позиций отечественной истории. Всей, а не только ее советского периода. А при отсутствии либерально-демократического исторического сознания трудно, практически невозможно понять и своеобразие наших современных проблем. Будем кружить вокруг них, не осознавая, вокруг чего кружимся, и сетовать на «почву», не осознавая, чему и чем она мешает.

Уникальна ли российская история? Вадим Межуев отвечает утвердительно, а Эмиль Паин – отрицательно. Оба ответа меня не удовлетворяют.

Ответ Паина не удовлетворяет меня потому, что Россия была пионером двух беспрецедентных насильственных военно-технологических модернизаций (при Петре I и при Сталине) и родиной практического коммунизма. Не было в мире и такой страны, которая, достигнув сверхдержавной военной мощи, распалась бы в мирное время. Значит, что-то особенное в нашей истории все-таки было.

Но меня не удовлетворяет и то, в чем эту особенность ищет и находит Вадим Михайлович Межуев. Что объясняет, скажем, упомянутое им долгое доминирование в России крестьянского населения? По-моему, само по себе ничего не объясняет. В той же Польше после 1945 года крестьяне составляли более двух третей ее жителей. Точно так же дело обстояло и в Венгрии. А в Болгарии, Румынии и Словакии доля крестьян была тогда еще больше – свыше трех четвертей. Теперь же все эти страны в Большой Европе, во всех них утвердились демократические институты.

В чем же своеобразие России и ее истории? Думаю, что искать его надо в том, что после освобождения от монгольской опеки и не без влияния монгольского политического опыта в стране была выстроена особая милитаристская модель государства, при которой отношения между властью и населением формировались — воспользуюсь сравнением старого русского историка Николая Алексеева — как отношения внутри большой армии. Причем эта модель использовалась не только в военное, но и в мирное время, аналогов чему нет ни на Западе, ни на Востоке. Границы между войной и миром были размыты, что предопределяло культурные и психологические особенности не только властной элиты, но и населения.

Но это же предопределяло и поведение противников власти. Упомянутый Вадимом Межуевым Емельян Пугачев, а за сто лет до него Степан Разин намеревались преобразовать Россию по образцу казачьего войска, превратив в казаков всех жителей страны. А большевики, как известно, овладели Россией посредством организованного вооруженного восстания (в европейских революциях такого не было) и будучи партией, которая в своем уставе именовала себя боевой организацией.

Кстати, именно советский период, с его выстраиванием повседневной мирной жизни по военному образцу, с его культом секретности и милитаристской лексикой, использовавшейся во всех без исключения сферах жизни, дает необходимую точку обзора и для понимания всей предшествовавшей истории. В этом периоде наряду со сталинской милитаристской модернизацией был и этап послесталинской демилитаризации жизненного уклада. Но то же самое мы наблюдаем и раньше: послемонгольская милитаризация жизненного уклада, достигшая предельных форм в ходе петровских преобразований, сменилась послепетровской демилитаризацией. И оба демилитаризаторских цикла завершались одним и тем же — распадом государства. Потому что — в отличие, скажем, от азиатских стран — отечественный самодержавный патернализм без милитаристской составляющей обнаруживал свою политическую несамодостаточность. Не в состоянии он оказывался сформировать у элит и населения и навыки иной, немилитаристской, организации жизни, т.е. жизни не по приказу, а по закону.

Не зафиксировав эту базовую, матричную особенность российской истории, мы и впредь будем искать ее специфику в православии, доминировании крестьянства или многонациональном составе страны. А в ответ выслушивать возражения, что ни первое, ни второе, ни третье ничего уникального собой не представляют. Не думаю, что таким способом мы сможем преобразовать наше историческое сознание.

Почему обо всем этом важно сегодня говорить? Потому что сейчас страна в очередной раз оказалась перед историческим вызовом – ей предстоит осуществить новую технологическую модернизацию. А ответить на этот вызов прежними принудительно-мобилизационными методами уже нельзя. Других же ответов российская властная элита не знает. И мы видим, как она запутывается между призывами к инновационному прорыву и апелляцией к инерции милитаристского сознания, что в наши дни с таким прорывом заведомо несовместимо. Она надеется решить стоящие перед страной проблемы так, как решали их элиты прежние, т.е. без политического участия общества. Но на этот раз так не получится.

Вот в чем особенность нашей нынешней ситуации, возникшей на пересечении современных вызовов и особенностей российского исторического пути. Вот в каком историческом контексте стоит сегодня в России вопрос о демократии. Вот чем определяются задачи интеллектуалов и содержание демократического проекта, который им предстоит предложить российскому обществу.

Дорогие коллеги, разрешите еще раз поблагодарить польских друзей, которые нашли время к нам приехать, и российских участников дискуссии. Спасибо фонду «Пресс-центр для стран Центральной и Восточной Европы» и его руководителю Стефану Братковскому. Спасибо посольству Польши за большую организационную помощь в проведении этой встречи. И — до новых встреч!

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Интеллектуалы и демократия

Российский и польский взгляд

Подписано в печать: 15.04.2009 Печать офсетная Тираж 800 экз.

Фонд «Либеральная миссия» 101990, Москва, ул. Мясницкая, 20 Тел.: (495) 623 40 56, 621 33 13 Факс: (495) 623 28 58